

ISSN 0320-8858

ABPOPA 1980 8



ABPOPA 8/80



Ерёмин А. Г. (Ленинград)
Люди Онеги

АВРОРА

АВГУСТ

1980

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ЦК ВЛКСМ,
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР,
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1969 ГОДА

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат

В НОМЕРЕ:

А. Ф. Петров. Твоя земля	3
Вячеслав Четнарев. Какая норма по плечу?	8
Леонид Замятнин. Не расставаться с горами	16
Мария Ильина. «Количеством и качеством перегнали Веселовского»	26
Юрий Мартыненко. Через две зимы	35
Анатолий Белов. Стихи	59
Надир Сафиев. Лунный парус Айна Вяйке. Повесть.	64
Владимир Жилин. Людмила Леплейская. Юрий Касянич. Стихи	89
Елена Глибина. Стихи	91
Майя Борисова. Зачем и кто идет в ЛИТО...	93
Глеб Горышин. «Недаром Ладога родная...»	99
Г. Силина. Всматриваясь в классику	119
Вадим Вацуро. «Пророк»	123
Илья Авербах. Монолог о Марине Неёловой	130
Тамара Грум-Гржимайло. Всего дороже в музыке	136
Алексей Самойлов. Игра	143
Виктор Липатов. Необыкновенные обыкновенные Алые паруса	156
СОКРОВИЩА РУССКОГО МУЗЕЯ	160

XXVI **СЪЕЗДА КПСС**

СТРАНА ГОТОВИТСЯ К СЪЕЗДУ.

ЧТО МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ТЫ, НАШ ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, УЖЕ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ЗАВТРА СТАТЬ ПОЛНОПРАВНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, ПРИНЯВ НА СВОИ ПЛЕЧИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБЫ РОДИНЫ?

ОБ ЭТОМ ИДЕТ РАЗГОВОР В МАТЕРИАЛАХ «ТВОЯ ЗЕМЛЯ», «КАКАЯ НОРМА ПО ПЛЕЧУ?».

О ЛЮДЯХ ВЫСОКОГО ДОЛГА, МАСТЕРАХ СВОЕГО ДЕЛА РАССКАЗЫВАЕТСЯ В ОЧЕРКАХ «НЕ РАССТАВАТЬСЯ С ГОРАМИ», «КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ ПЕРЕГНАЛИ ВЕСЕЛОВСКОГО».

Главный редактор Глеб ГОРЫШИН.

Редакционная коллегия:

Владимир АКИМОВ, Магда АЛЕКСЕЕВА (ответственный секретарь), Владимир ВЕТРОГОНСКИЙ, Глеб ГОРБОВСКИЙ, Михаил ДУДИН, Вильям КОЗЛОВ, Александр КОЛЯКИН, Юрий КОРОБЧЕНКО (зам. главного редактора), Евгений КУТУЗОВ, Борис НИКОЛЬСКИЙ, Людмила РЕГИНЯ, Юрий РЫТХЭУ, Вольф СУСЛОВ

© „Аврора“ 1980

Рукописи не возвращаются. Адрес редакции: 192187 Ленинград, Литейный пр., 9. Телефон 273-33-90. М-16955. Сдано в набор 25.05. 1980 г. Подписано в печать 4.08. 1980 г. Формат 84X108¹/₂. Печ. л. 5 (усл. л. 8,4). Уч.-изд. л. 12. Тираж 160 000 экз. Зак. № 569. Цена 40 коп. Типография имени Володарского Лениздата, 191023 Ленинград, наб. р. Фонтанки, 57

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Сегодня с вами беседует Герой Социалистического Труда, заслуженный агроном РСФСР Александр Федорович Петров



В

юные годы каждому человеку дается самое главное — возможность выбрать такое дело в жизни, чтобы и себя наилучшим образом проявить, и людям принести наибольшую пользу. Дел очень много вокруг. Если ты живешь в городе, то прежде всего тебя и захватывает «городская» профессия. Ты можешь стать рабочим на заводе — высокая должность! Можешь выучиться на инженера, стать конструктором, даже ученым. Но до этого пока что еще далеко. У тебя в руках твоя юность. Тебе надо из подростка, из отрока превратиться в мужчину, в гражданина своего Отечества!

Если ты живешь на селе, наверняка в твоей школе есть курсы механизаторов. Ты можешь стать трактористом, комбайнером, механиком широкого профиля. Школа, совхоз или колхоз, в котором работают твои родители, заинтересованы в том, чтобы ты остался на земле, занялся крестьянским трудом, или, как теперь говорят, сельскохозяйственным производством. Ты нужен земле.

Но может статься, даже будучи сельским жителем, ты уедешь учиться, работать в город. Ты нужен и городу. Город кажется тебе привлекательнее, притягивает тебя своей культурой, удобствами и соблазнами.

Где правильный выбор? Как не ошибиться в единственном, главном на всю жизнь вопросе — кем быть? Тут мало довериться чьему бы то ни было совету. Тут надо уметь поразмыслить и самому.

Хотя и смутно, но помню, на самой заре моей юности, решив стать агрономом, подавая заявление в Долматовский сельхозтехникум, я руководствовался такими мыслями... Вот люди живут в большом городе, в котором есть заводы и фабрики, учреждения, институты, театры. Представьте себе такой невозможный, кажется, случай: вся жизнь большого города вдруг оказывается парализованной, заводы и учреждения не работают, не вырабатывают никакой продукции. Убыток ужасный, но жизнь не прекращается, если в город поступают сельхозпродукты: хлеб, картошка, молоко, мясо. Любые убытки в промышленном производстве, научной дея-

тельности можно потом возместить. Но если в период весеннего сева по каким-то причинам в течение двух недель крестьяне не выйдут в поле, скот не выгонят на пастбища, поля не засеют, то это невосполнимо и приведет к всеобщей катастрофе.

Как видите, выбирая дорогу в жизни, я уже размышлял и прикидывал, где я нужнее. Меня тянуло к земле. Земля — основа всего, самой жизни. Об этом надо каждому помнить, где бы ты ни жил, в городе или в деревне...

Но жизнь моя повернулась иначе, меня призвали в армию, я стал кадровым военным. Вместо агрономской работы в поле мне предстояли дальние походы, бои. Тяжелое ранение вынудило меня вернуться к моей мирной профессии, закончить сельхозтехникум. В войну я работал агрономом в подсобном хозяйстве танкового училища. Что я думал в те годы, чем жил? Некоторые мои мысли сохранились в пожелтевших письмах, которые я писал на фронт моей будущей жене, лейтенанту медицинской службы Полине Ивановне Шорунковой. Я познакомился с нею, еще лежа на госпитальной койке... «Свою работу я люблю и всегда отдаю все силы для достижения желаемого результата. Да и нельзя не любить. Труд наш, сельских работников, тяжел и грязен, но, я считаю, благороден.

Представь себе: выходишь весною в поле. Перед тобой земля, еще сырая, поросшая иногда бурьяном. И вот начинают люди трудиться над землей. Ее пашут, боронят, удобряют, закладывают в нее семена желаемых культур, затем поливают, рыхлят, пропалывают и т. д.

Уже в июле до того пустынный участок приятно ласкает глаз буйно развивающимися, расположенными правильными рядами, произрастающими сельскохозяйственными культурами. Тут нет места сорнякам! А осенью! Пройди по хорошо обработанной овощной плантации или по саду — какая масса овощей, плодов, ягод! И это не продукция, завалившаяся в овощном рыночном ларьке, — здесь она имеет свой собственный привлекательный вид.

Откуда же все это взялось? Все это получено из земли, из грязной, сырой, тяжелой земли, сдобренной навозом, проходя мимо которого мы отворачиваем нос.

И вот, когда видишь плоды своих трудов и пользу дела, которому служишь, вдесятеро прибывает энергии и отношение к делу становится самое близкое, добросовестное.

Работник земли с поля не бежит. Поле для него все. В поле он устает физически, но если виден результат его работы, то духовно отдыхает. Так проходит весна, осень, лето. А зимой идет подготовка к лету...»

Когда я приехал в совхоз «Красная Балтика» Ленинградской области, сразу после войны, и стал работать в нем сначала бригадиром, затем агрономом, домов не было ни одного, все разрушила война. Жили в землянках, понемногу отстраивались. Пашня наша была тогда крохотная и урожаи мизерные в сравнении с теми, что получают на этих землях нынче. Почвы неплодородные, поля засорены камнями, удобрений никаких...

Нужно было и животноводство развивать, и пастбища окультуривать, и картошку сажать, и зерновые сеять. День у агронома длиннее, чем у горожанина, работали от зари до зари. Но и длинного дня не хватало, чтобы управиться со всеми делами. Нужно было определиться, что главное в многоотраслевом хозяйстве, какую ему придать специализацию.

У меня давно уже душа лежала к многолетним травам: клеверам, тимофеевке, овсянице луговой. Травы эти обогащают кормовые угодья. Но прежде всего для того нужны они земледельцу, чтобы, участвуя в севообороте, отдавать почве азот и другие необходимые ей для плодородия элементы. Кое-кто сомневался и даже свысока относился к травам. Но удалось правоту свою отстаивать на деле: «Красная Балтика» стала специализированным хозяйством по выращиванию семенников многолетних трав.

Без малого тридцать лет проработал я главным агрономом в «Красной Балтике». За эти годы совхозная нива многократно увеличилась, стала культурной и плодородной. Нынче никого не удивит урожай зерновых в тридцать и более центнеров с гектара. А ведь совсем недавно хорошими считались урожаи в десять-двадцать центнеров.

На месте старого села Гостилицы вырос пятиэтажный каменный город, условия жизни и быта рабочих совхоза

нынче мало чем отличаются от городских. Стратегия нашего сельского хозяйства, пути его преобразования выработываются институтами. Основы его индустриализации закладываются на промышленных предприятиях.

Земля наша — мать-кормилица — щедро вознаграждает того, кто ей служит с умением и с душой. Сколько бы ни было нынче должностей и званий в сельском хозяйстве, работа на земле в основе своей остается крестьянской. Меня, случается, спрашивают: как вы достигли того или другого? Я отвечаю: век свой крестьянствовал на земле, от черной работы носу не воротил — и достиг. Крестьянская работа была, есть и будет черная, хоть то алтайский чернозем, хоть наше Нечерноземье...

Моя агрономская должность не оставляла мне ни минуты для праздности — в сельском хозяйстве, как на войне, каждый день выдвигает условия и задачи, которые надо тотчас решать.

В определенном возрасте я оставил должность агронома, но обретенные мною на совхозной ниве знания пригодились для научного программирования урожаев на полях нашей области. Суть этой работы, которую проводит Агрофизический институт, состоит в том, чтобы досконально изучить микроусловия каждого поля — состав почвы, увлажненность, оптимальные сроки обработки, количество вносимых удобрений и так далее, составить технологические карты на любые погодные условия, прогнозировать урожай независимо от погоды...

Чем дольше работаешь на земле, тем шире открываются возможности творческого применения в этой области всех открытий современной науки и техники. Но в основе всего — любовь к родной земле, чувство сыновнего с ней родства.

Выбирая в юности свою единственную дорогу в жизнь, проснись ранним утром, выйди за околицу твоего села. А если ты горожанин, сядь в поезд... Поброди по полям, взглядишь в зеленую колышущуюся ниву, послушай песни жаворонков... Обратись сердцем к земле, дающей тебе хлеб насущный. Земля — твоя. Она ждет тебя, сына и работника. Ты ей нужен.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

КАКАЯ НОРМА ПО ПЛЕЧУ?



Геннадий Александрович
Богомолов

«Уже не первый год у моих товарищей на устах имя полиграфмашевца Богомолова. Его трудовые рекорды нас поражают, но вот я, например, как ни стараюсь, приблизиться к отметкам Богомолова не могу. В чем же дело! Еще в ПТУ меня познакомили с передовыми приемами, приспособлениями. Теперь у меня уже есть и опыт. Технологию знаю, кажется, до тонкостей. Для этого даже закончил техникум. Два года подряд на нашем «Электроприборе» меня называли лучшим по профессии. Но мой «потолок» все тот же — полторы нормы. Хотелось бы лично поговорить с моим кумиром...
Сергей Власов, фрезеровщик...»

Его, ежедневно выполнявшего три нормы станочника, называли «человеком-хронометром», «человеком-машиной». Говорили, что Геннадий Александрович Богомолов работает «на износ». Однако прошло десять лет, а он здоров, ни разу не обращался к врачам. И снова первым среди

станочников страны выполнил задание десятой пятилетки. Труд фрезеровщика ленинградского завода «Полиграфмаш» Богомолова отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени. Недавно ему присуждена Государственная премия СССР.

«Аврора» пошла навстречу просьбе Сергея Власова. Передаем с дословной точностью за-



Сергей Власов

пись его беседы с Геннадием Александровичем Богомоловым. Беседы, которая — уверены — заинтересует многих.

— Сергей, — сказал, предваря разговор, Геннадий Александрович Богомолов, — нам будет нужна полная откровенность. Полная. Сказал бы так: как у тренера с учеником. Преду-преждаю: никаких обид и недо-молвок. Иначе — знаю по опы-ту — желанной цели мы не до-бьемся... Идет!

— Согласен. Я и сам просил бы о том же.

— Вот и прекрасно. Тогда сразу возьмем быка за рога — проведем мысленный экспери-мент. Подумаем вместе, воз-можны ли такие идеальные ус-ловия, при которых и на твоем станке можно втрое перекрыть норму. Что ты скажешь по это-му поводу!

— Как хотите, а триста про-центов дать нельзя!

— Не спеши с выводами. Условия-то ведь идеальные. И работа только такая, которая тебе по вкусу.

— Ну, тогда я выбрал бы фрезерование на круглом сто-ле. Стол вращается, и работа идет как на конвейере — успе-вай заготовки ставить-снимать... Тут я себя показал бы!

— А если все же партии де-талей небольшие!

— То-то и оно! У меня, да и у моих соседей, всевозможных типов деталей — завались. Сто штук редко, чаще — по десять

одинаковых. В месяц до пятиде-сяти наименований!

— Так и у меня. Это хоро-шо, легче сравнивать. И так!..

— Чтобы ускорить темп на мелких партиях, я пушу в ход УСП — универсальные сборные приспособления. Годится!

— Годится. Но представь, что я — кормировщик. Ведь я под-ниму тебе норму... По сути, ты, Сергей, прав: без технического прогресса нельзя. Однако шан-сы всех участников социалисти-ческого соревнования должны быть равны. Потому-то всякое техническое новшество учиты-вается при расчете наших норм. Ведь верно!

— Ну что ж, тогда я обороты станка увеличу.

— Не пойдет: ты забыл об инструменте. Его режущая часть начнет перегреваться, выкраши-ваться.

— А я увеличу подачу сма-зочно-охлаждающей жидкости. Или применю новейшие ре-зцы — пластифицированные, из твердого сплава. Они в десятки раз прочнее обычных.

— Все так, Сергей. Но ты вновь заговорил о возинках. Они у нас — мы договорились — «записаны» в норме, а в лоб проблема «трех норм» не ре-шается. Давай переформули-руем нашу задачу. Ответь мне, что сегодня, сейчас мешает твоей более продуктивной ра-боте. На что, например, ты жа-луешься мастеру!

— Это и спрашивать не нуж-но — конечно же, на «срочные»

заказы. Что это такое, сами, наверно, знаете. Ты долго настраивал станок, готовил инструмент, да и сам в душе к определенной работе готовился. И вдруг — на тебе: фрезеруй какую-то постороннюю железку. Снова ищешь инструмент посподручней, в суматохе теряешь время. Но, главное, выбит из колеи. Не будь этих гонок, я бы процентов двадцать добавил к выработке.

— Верно, резерв приличный. Говорит он о чьей-то бесхозяйственности. Мы, коммунисты «Полиграфмаша», давно выступили против такого стиля работы... Что у тебя еще!

— Мелочь. Даже неудобно говорить. Уже несколько лет прошу администрацию подвести пневмосистему к моему станку. Сейчас же, чтобы обдуть готовую деталь от стружки, каждый раз совершаю путешествие: десять шагов туда, десять — обратно. Правда, приспособился: ухожу от станка в тот момент, когда он без меня работает. Так что потерь времени — никаких.

— Что касается времени, то в данном случае ты, Сергей, не прав. Но об этом разговор впереди. Как вижу, мысли о резервах у тебя снова иссякли. Тогда попробуем подойти к делу еще с одной стороны.

Вообрази, что ты участник необычного конкурса. Тебе и еще десяти лучшим молодым фрезеровщикам Ленинграда дали изготовить на скорость ка-

кую-то сложную деталь. Условие: технологию обработки нужно разработать самому. Есть и льгота: времени на обдумывание вам дается месяц. Зато потом к работе вы приступите одновременно — по щелчку секундомера...

Вот мои вопросы. С чего ты начнешь подготовку к состязанию! Будет ли отличаться твоя работа на конкурсе от повседневного трудового процесса, и если будет, то чем!

— Хм... Ситуация интересная. В таком споре поучаствовать не отказался бы — люблю всякие соревнования.

Начал бы я с того, что взял бы за всякие справочники. Понятно, обратился бы за советом к инженерам, к опытным рабочим — вместе скрупулезно обдумали бы все переходы от операции к операции. Потом изготовил бы соответствующую оснастку... Впрочем, если это условиями конкурса не запрещено.

— Не запрещено. Хотя, сам понимаешь, время изготовления приспособлений и их стоимость следовало бы учесть. Иначе участники окажутся в заведомо неравных условиях.

— Геннадий Александрович, но тогда получится, что у нас друг перед другом вообще нет никаких преимуществ. Ведь и мои соперники пойдут к старшим советоваться насчет предстоящей работы. К чему тогда всем нам месяц на подготовку!

— Подумай. Тем более что ты не ответил на мой второй вопрос.

— Об атмосфере конкурса? Думаю, что мое внутреннее состояние в эти минуты будет отличаться от обычного точно так же, как состояние бегуна-спринтера отличается от спокойствия пешехода, фланирующего где-нибудь по Невскому. Ясное дело, что инструменты я разложу под рукой поудобнее и вообще все стану делать быстрее.

— А ты задумывался, много ли на этих «поудобнее» и «быстрее» можно выиграть!

— В общем, да. Один раз мы даже провели комсомольский рейд, изучая в цехе производительные потери времени. Вышло, что до полутора часов каждый тратит в среднем на беготню за инструментом да на перекуры...

— А ты, Сергей, куришь!

— Что делать — курю. Но в работе это не помеха. Тем более что после того рейда курить нам разрешили прямо у станка.

— Тем не менее на конкурсе, надеюсь, ты и у станка не задымишь. Верно! В этом-то и особый дух подлинного соревнования — человек в нем отдает всего себя, без остатка. Однако весь вопрос в том, что мы понимаем под «отдачей всего себя». Сейчас я постараюсь доказать тебе, что добросовестно и с энтузиазмом работать — это еще не значит умело работать.

Знаешь, что меня, фрезеровщика, больше всего задело

в твоих словах! Пренебрежение к так называемым мелочам, отсутствию анализа, точных расчетов. Мы условились все говорить друг другу в открытую. Так вот слушай.

Ты как бы между прочим рассказал мне историю о том, как «путешествуешь» ради пустякового дела — очистки детали. Ты, хотя и зываешь к начальству, не видишь тут никаких потерь времени. Зablуждение! Позволь расскажу, как я сам неделями ломал голову над наиболее рациональным выполнением цепочки из трех взаимосвязанных приемов — «снять деталь со станка», «обдуть деталь» и «отложить деталь». Начал с того, что задумался: до стеллажа, на который укладываю детали, два шага... Расточительство! Тогда я навесил на станину металлические карманы. Из одного беру заготовки, в другой бросаю готовые детали. Удобно! К тому же свыше тысячи метров только на движениях рук сэкономил.

Но пришло время, и я вновь засомневался: не лучше ли деталям падать в ящик под воздействием собственного веса! Приладил к станку наклонный желоб. Совсем хорошо стало. Можно сказать, идеально. Почти. Ведь прежде чем пустить деталь с горки, ее все равно приходится брать в руки, чистить упругой воздушной струей. Вот бы обойтись совсем без рук!

И я в конце концов придумал

мал. Пневмостолет укрепил так, что он сдувает стружку с детали прямо в процессе работы. Что же происходит, когда заканчивается операция? Левой рукой я нажимаю на рычажок, высвобождая деталь из приспособления; при этом изделие воздушной струей сразу отбрасывается в приемный ящик. Что остается на мою долю! Не теряя времени, вставить правой рукой новую заготовку в освободившееся гнездо и тут же включить станок. Выигрыш! Секунды... Но помножь их на сотни и тысячи деталей в смену!

А теперь, Сергей, если представить, что мы с тобой при изготовлении тех деталей соревнуемся, — скажи, кто придет к финишу первым!

— Сдаюсь... Но давайте вернемся к самому началу нашего разговора. Такой ли большой прирост выработки могут дать эти отыгранные вами секунды!

— Сомневаешься! Что ж, знакомое возражение. А между прочим, ответ ты и сам способен найти. Тебе известно, что большую часть рабочего дня станок у фрезеровщика в общем-то простаивает. В это время рабочий читает чертеж, готовит инструмент, настраивает оборудование. Я же поставил себе целью все вспомогательные дела свести к нулю. И немало добился. Это ты видел на приведенном примере. А конечный результат — каждодневные триста процентов — тебе известен.

— И все же, Геннадий Александрович, еще много неясного. Бывает с одной деталью столько мороки, что и в норму не надеешься уложиться. Особенно мучают бесконечные перенастройки станка. Всей работы-то — разок чиркнуть фрезой, а прилаживаешься минутой, а то и две-три.

— Когда встречаюсь с ребятами из ПТУ, даю им такие советы. Первый: всюду, где можно, так группировать различные детали, чтобы их обработку вести одним и тем же инструментом. Сменил инструмент — снова перед тобой должно быть большое поле деятельности, а не один только «чирк». Сам знаешь, великое ли дело — закрепить деталь в патроне станка! Пустяк! Да не совсем. Специалисты, изучавшие организацию труда станочников, немало удивились, обнаружив четырнадцать способов выполнения этого элементарного приема. Но еще более поразительным было время, показанное всеми рабочими, — от пяти до восемнадцати секунд. Пришлось мне подробно проанализировать все свои движения за станком. Выяснил, что в «коллекции» фрезеровщика всего около двадцати часто чередуемых приемов. «Взять», «отложить», «включить», «закрепить» и так далее. Всего двадцать! И я сказал себе: «Какой же ты будешь профессионал, если не разучишь эти приемы!» Когда тренировался! Прямо на станке, во время работы. В общем, все

приноровительные движения перешел в решительные, как сказали бы физиологи. Зато время отыграл на этом в пятикратном размере!

— Простите, Геннадий Александрович, но получается, что вы за станком — как жонглер...

— Нисколько не обижусь на такое сравнение. Тем более что даже лучшего жонглера никогда не считал сверхчеловеком, а только истинным профессионалом. И в определенной мере исследователем. Кстати, добавлю ради шутки, что с тем же жонглером меня роднит и то, что обе руки я научился загружать равномерно.

— Не понимаю, чем же таким постоянно загружена ваша левая рука!

— Пожалуйста, вот данные хронометража. Одна из операций у меня длится двадцать секунд. Из каких же слагаемых составлено это время! Только левой рукой за треть минуты успеваю совершить восемь разнообразных и сложных действий. Освобождаю деталь из приспособления, опускаю ее в тару, беру кисточку, очищаю приспособление от стружки, устанавливаю заготовку, берусь за рукоятку подачи фрезы, подвожу фрезу до касания с деталью, управляю процессом фрезерования. Напомню, я, правша, проделываю это одной лишь левой рукой!

Есть у меня и другие небольшие секреты. Например, применяю зеркало бокового об-

зора — как у шоферов. При постоянном зрительном контроле за делениями на лимбе рукоятки, подающей стол станка, зеркало снимает утомление глаз и мышц шеи. При использовании сверла пускаю в ход проволочную педаль. Только она в полтора раза повышает мою выработку. Управление всеми кнопками и рукоятками тоже сосредоточил в одном месте. Для этого протянул через станок проволочные тяги. Нехрасиво, зато удобно.

— Одним словом, не станок, а целая лаборатория!

— Вот-вот, попал, Сергей, в самую точку. И тебе советовал бы превратить станок в поле для экспериментов. У меня самого — десятилетка плюс регулярное чтение литературы по научной организации труда, по медицине, психологии, эргономике, эстетике и, конечно же, по экономике и организации производства. У тебя — ПТУ, да к тому же законченный техникум... На мой взгляд, рабочий достиг сегодня такого уровня образования, обладает такой суммой знаний, что просто обязан участвовать в проектировании собственного трудового процесса. Непосильная нагрузка! Напротив! Творческий подход лишь подхлестнет силы.

— Но, Геннадий Александрович, коли эдак целый день вкалывать руками да еще и головой, то к вечеру без сил домой язишься!

— Все наоборот. Победа над собой в каждодневном, будничном деле — трудная победа. Но и самая счастливая. Баскетболист после выигранного трудного матча возвращается к себе как на крыльях. Зато проигравший еле ноги волочит. Это так, поверь мне — я занимался баскетболом.

Человеку, кем бы он ни был, никогда не выгодно долго держиваться на том уровне, где все дается уже без усилий. Иначе, при отсутствии внешнего сопротивления, наступает скукота, внутренняя опустошенность, постепенный распад личности. К чему же я призываю! К борьбе с собой. К установлению личных рекордов.

— Неужели, Геннадий Александрович, сами вы никогда не устаете!

— Чего греха таить, бывает. В жаркие дни в шумном, вечно движущемся цехе ой как бывает несладко. Но я нашел свое противодействие и от слишком затяжных раскачек, и от внезапно подступающей сонливости. Какое! Скажу по порядку.

Первый сеанс психологической настройки провожу еще по пути на завод. Мысленно несколько раз включаю станок, лоджовку за заготовке фрезу... В общем, все технологию в голове проигрываю до мелочей, как это советует делать... спортивная наука. Да, представители многих видов спорта именно таким способом производят сегодня разминку перед ответственным

стартом. Результат! В их мышцах и сигналу стартера уже нет вялости, и сердце бьется в соревновательном ритме.

Если же накопилась усталость, можно, отключив станок, даже уснуть минут на пять. Вполне заменяет «перекур» — только эффект несравнимый. Подобный сеанс аутотренинга мобилизует работника для дальнейших активных действий.

— Геннадий Александрович, теперь и мне хотелось бы высказаться, и тоже откровенно. Вам за честный рассказ спасибо, теперь мне до конца ясна формула вашего достижения. Однако вот что меня смущает. Если мне теперь поднимать «потолки» своих норм, то придется идти по проторенной вами тропе. А дублировать чей-то успех, согласитесь, не так уж интересно...

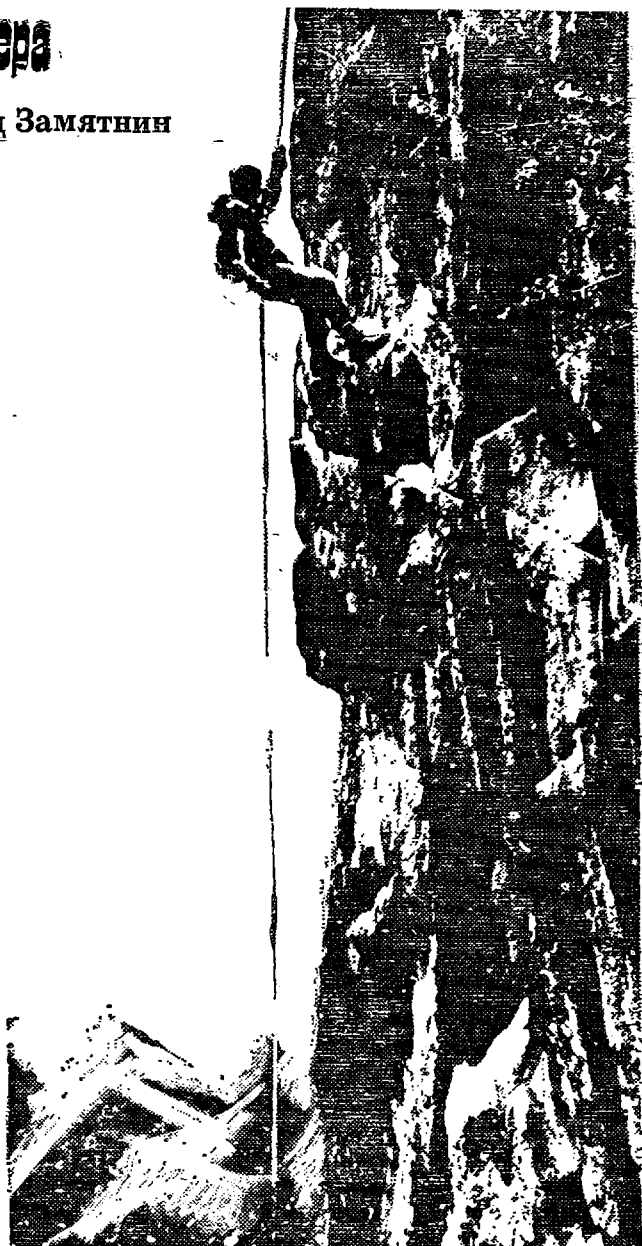
— Чтобы достичь новых рекордных высот, полагается вначале штурмовать уже взятые твоими предшественниками вершины. А дальше тебя должна повести козая максимальная цель, которую непременно надо перед собой поставить. Попутно замечу, что моя цель — отнюдь не только рекорды фрезерного ремесла. Я убежден, и хочу это доказать, что любой человек на своем месте, используя ресурсы техники и своего организма, может достичь в два — в три раза большего, чем он делает это сейчас.

Записал диалог
Вячеслав Четкарев

Мастера

Леонид Замятнин

НЕ РАССТАВАТЬСЯ С ГОРАМИ



Март восьмидесятого. В Душанбе тепло. Люди ходят без пальто и без шапок. Я еду в Рогун. Старенький «пазик» трясет безбожно. Скучная пыльная дорога. Желтые покатые холмы похожи на спины спящих слонов. За ними — невысокие заснеженные горы. Недоезжая Файзабада, вдруг ныряем с головой в пушистую русскую зиму. Сугробы в человеческий рост сдвинуты бульдозером к обочинам. Теперь едем словно в тоннеле. Метет. Ничего не видно. Белобородые смуглые старики из «Тысячи и одной ночи» в черных, белых, красных тюбетейках и в темных стеганых халатах, пожилые женщины в накинутых на голову рубашках неожиданно возникают в снежной мути, «голосуют», входят в автобус и вскоре покидают его, исчезая из поля зрения так же внезапно, как возникли. Не оставляет ощущение, что ты уже где-то видел эти лица. Может быть, на полотнах Верещагина...

А серпантины дороги все набирают и набирают высоту. Мотор гудит натужно. И кажется, нет конца этим глубоким пушистым снегам, этому густому, властному снегопаду. Теперь слеза от дороги — стена, справа — глубокий узкий каньон. Падать очень далеко. «Пазик» наш крутит и крутит. Переезжаем через мост и теперь уже катим по правому борту ущелья, в противоположном направлении, как бы назад. Дорога, по которой мы только что проехали, бежит навстречу. И езда наша кажется бессмысленной. И не видно выхода из этого ущелья. Горы как будто заперли его со всех сторон...

Я думаю о человеке, к которому еду, о скалолазе-монтажнике Рогунгэстроя Юрии Яновиче. Вот уж действительно неординарная личность, человек, сделавший спорт своей профессией. Он — скалолаз. И этим все сказано. Попробуй отделить у Юрия Яновича спорт от работы и наоборот. Не получится.

Мы знакомы с ним давно. Впервые встретились семнадцать лет назад. В майские дни на скалах, в Карелии, соревновались скалолазы ленинградских вузов. И особенно азартно болели студенты за плотного, коротко подстриженного парня в очках — студента Горного института Юра Яновича.

Через десять лет вместе с Яновичем (к тому времени он уже был бригадиром скалолазов-монтажников Нурекгэстроя) мы оказались на Кавказе, на всесоюзных сборах инструкторов альпинизма. На занятиях по спасательным работам команда курсантов должна была с помощью полжпаста вытянуть на тросах по отвесной скале сразу двоих альпинистов — условно пострадавшего и сопровождающего. Обычно двоих вытягивали четверо. Юра Янович всегда был горяч и решителен в работе. А парни, доставшиеся ему в напарники на том занятии, видимо, ленились, не слишком «шустрили». Не выдержав, Янович ухватился двумя руками за веревку, издал какой-то гортанный, натужный крик. И, ко всеобщему изумлению,

вытащил «пострадавшего» и сопровождающего наверх. Вытащил в одиночку! Я бы не поверил в это никогда, если б не видел все своими глазами. И этот лихой хриплый крик, подбадривающий самого себя, и эта мощь поразили нас. Мы только переглянулись и пожали плечами: вот это мужик! И роста вроде бы среднего, и сложения среднего. Правда, спина широкая...

1973 год. Осенний Крым. Скала Хергкани. Парная гонка первенства страны по спортивному скалолазанию. Юрий Янович — представитель впервые выступающей на всесоюзных соревнованиях команды гидростроителей Нурека — сбрасывает стеганный таджикский халат и выходит на старт. Коротко подстриженный, очкастый, плотный. Весь — внимание и собранность. Очки застрахованы, на резинке. На ногах — подвзятые тесемками остроносые азиатские галоши. Взгляд устремлен вверх: глазами скалолаз «проходит» весь предстоящий девяностометровый вертикальный путь. На параллельном маршруте принимает старт скалолаз из Грузии. «Марш!» — звучит команда. Щелкают секундомеры.

Скалолазы, бегущие вверх по отвесной стене, издали похожи на ящериц. Тело изгибается, подчиняясь рельефу скалы. Снизу стена кажется совершенно гладкой, иногда даже нависающей. А они бегут, борются с секундами и друг с другом. Здесь борьба характеров, тактики, техники.

«Наддай! Зашнуривай! Не стой! Работай ногами! Миди, миди! Чкара, чкара!» [что по-грузински означает то же самое — «Быстрее! Быстрее!】 — режут болельщики.

Янович первым заканчивает свою трассу и спускается «дюльфером» вниз по закрепленной веревке. Теперь соперникам предстоит поменяться маршрутами и продолжить бег. Такова «парная гонка». Правила соревнований жестоки: проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. В финал попадает победитель. Янович уверенно выигрывает гонку, не оставляя сопернику никаких шансов. Но неожиданно у него развязывается тесемка на левой галоше. «Ох!» — вырывается у толпы единый выдох. Скалолаз успевает поймать соскочившую галошу. Потерять ее нельзя. Судьи накажут на это штрафными баллами. Досадная оплошность! Завязывать тесемку некогда, да и неудобно делать это на отвесной скале. Соперник нагоняет. Не раздумывая ни доли секунды, Янович прикусывает галошу зубами и в таком виде, под бурные аплодисменты зрителей, первым заканчивает маршрут и спускается по веревке вниз, принося зачетные очки своей команде...

Вспоминаю разговор с лидером таджикских альпинистов — Олегом Калитановым, состоявшийся у него дома, в Нуреке.

О Яновиче Олег рассказывал с удовольствием.

— Как все физически сильные люди, Янович добр и отзывчив. Что касается спорта, то я не встречал другого такого сильного во всех отношениях, такого талантливого спортсмена с железным самообладанием. Юра исключительно надежен. Эмоционален. Но давит в себе все холодной волей. Очень тяжелым был для нас 1973 год. На пике Коммунизма я заболел тогда воспалением легких. Пришлось меня спускать. А тут еще, провалившись в ледниковую трещину, погиб наш товарищ Гена Котов. Мы очень любили этого парня. Вернулись в Нурек. Не успели похоронить Гснгу, как пришло известие о том, что терпят бедствие украинские альпинисты. И, несмотря на то, что все мы были сломлены гибелью товарища, Юра Янович сумел собрать команду и организовать спасательные работы. Ребята наши вышли на пик Коммунизма, на высоте 6200 метров встретили украинцев и выручили их из очень трудного положения.

Толчок. Автобус останавливается. Оби-Гарм — конечная остановка. Отсюда еще три километра до поселка гидростроителей. Снегопад. Пушистые хлопья ложатся на дорогу и тут же тают в грязи. Меня подбирает попутка.

Сары-Булак. Улица имени Виктора Яковлевича Ненахова — первого начальника строительства Рогуна. Несколько крупнопанельных четырехэтажных домов прилепились друг над другом на искусственных террасах, вырубленных на склоне горы. Дальше этих домов ничего не видно. Белая, звуконепроницаемая стена снегопада.

— Вон дом 23, — указывает рукой загорелый парень в штормовке и в резиновых сапогах. Вскоре я понял, почему здесь «модна» эта обувь. И пройти-то мне надо было метров сто по разбитой «БелАЗами» дороге. Но в своих гордских туфлях я тут же утонул по щиколотку в грязи. Махнув рукой, засучил брюки до колена и зашагал в сторону нового бело-голубого дома с балконами и огромными окнами.

Всего два месяца назад встречались мы с Юрой Яновичем на Кавказе, у подножья Эльбруса, на поляне Азау. Я работал в Терском инструктором по горным лыжам. Узнав о том, что в Азау приехали «гималайцы» — кандидаты в сборную команду страны, готовящуюся к восхождению на Джомолунгму, я пришел к ним в гости. По глубокому снегу поляны Азау носились с футбольным мячом шумные загорелые парни. Среди темпераментных футболистов оказалось много знакомых, и среди них — Янович. На этих сборах он единственный представлял Таджикистан. «Вчера спустились с Эльбруса, сходили хорошо», — сказал мне Юра.

...Сейчас я попадаю в однокомнатную квартиру Яновичей. Мебели никакой, за исключением пары стульев. В углу на полу лежат

два альпинистских спальных мешка. У окна — открытый чемодан с книгами. Четыре года назад я бывал у Яновичей в Муреме. Там у них была прекрасная двухкомнатная квартира в центре города. И мебель была, и книги на стеллажах. Сейчас — не квартира, а бивуак.

— Вот так мы живем. Не таскаться же с барахлом, — говорит жена Яновича Юля, — новую стройку начинаем. Юрка любит начинать.

— А ты! Не устала от кочевой жизни!

— Привыкла. И даже нравится.

— А где дочка!

— В Жигулевске, у бабушки. У нас еще нет школы. Все будет со временем, только не здесь. Гидростроители будут жить ближе к створу, в Майдоне. Сейчас там маленький кишлачок. Нурек закончили. Начинаем Рогун. Здесь работы много. Осели мы теперь надолго, лет на десять—пятнадцать. А вот и хозяин.

— Писать обо мне приехал! — удивляется Юра. — А что писать-то! Разве я один такой! Есть мужики, которые работают и подольше.

Я знал, что и в школе, и в ленинградском Горном институте Юра занимался боксом. Но однажды, попав на скалы и увидев, как лазят лучшие ленинградские скалолазы, он навсегда забросил бокс. Беспощадные тренировки, и уже через год Янович завоевывает бронзовую медаль в Красноярске на соревнованиях сильнейших скалолазов страны, посвященных памяти Евгения Абалакова.

Увлечение скалолазанием и альпинизмом круто изменило всю его дальнейшую судьбу. Вместо геологоразведчика Юра стал гидростроителем. Узнав о том, что на строительстве Красноярской ГЭС требуются скалолазы, он уезжает в Дивногорск и осваивает специальность скалолаза-монтажника.

Увлечшись чем-то, Юрий отдавал себя любимому делу без остатка. Решительность поступков всегда отличала его. С детства хотелось ему не упустить в жизни главного, во всем самом интересном участвовать самому. В шестнадцать лет, окончив среднюю школу в Подольске, Юра, против воли родителей, убегает на целину. Отец увидел сына, когда тот вместе с будущими целинниками уже уезжал в грузовике на железнодорожную станцию. Отец только и успел, что погрозить ему кулаком. Но разве таких, как Юра, удержишь дома!

Так попал он в Орскую область, в зерносовхоз «Комсомольский». В степи, в двухстах километрах от центральной усадьбы совхоза, на строительстве зерносклада Юрий Янович освоил свою первую рабочую профессию — слесаря-монтажника. Каково же было удивление Юры, когда среди целинников он вдруг столк-

нулся со своим учителем истории, бывшим классным руководителем — Владимиром Афанасьевичем Разумовым. Тот тоже неожиданно для окружающих бросил все и поехал осваивать целинные земли, решив, что история создается там. Так учитель и ученики стали целинниками самого первого призыва.

Спорт и работа... В жизни Яновича они шли бок о бок. Раскачиваясь над Енисеем на капроновых альпинистских веревках, скалолазы сбрасывали со скал «живые» камни, обмывали склоны водой, чтоб обезопасить работающих внизу строителей.

Друг Яновича, выпускник ЛЭТИ, Олег Капитанов в 1971 году работал на строительстве Нурекской ГЭС в составе бригады сильнейших скалолазов студенческого добровольного спортивного общества «Буревестник», созданной по инициативе ЦК ВЛКСМ. Студенты-скалолазы закрепляли тогда «камень» размером с трехэтажный дом и весом около пяти тысяч тонн, который висел на четырехсотметровой высоте над зданием ГЭС. Пришлось сплести вокруг этого «камушка» кошелку из двадцатипятимиллиметрового троса. Оставшись в Нуреке насовсем, Олег Капитанов позвал туда Яновича, который возглавил альпинистский клуб «Норак». В 1973 году вместе с Капитановым он стал серебряным призером чемпионата СССР по альпинизму, взойдя на вершину Ягноб.

К тому же Юрий Янович стал бригадиром скалолазов-монтажников и всю бригаду сумел собрать из альпинистов.

Сотметровая скальная стена нависает над стройкой. Время от времени от сильного перепада температур (дневная жара и ночные заморозки) скалы трескаются. Многолюдные глыбы вываливаются и падают вниз. Для предотвращения несчастия необходима тщательная «оборка» скалы. На тросике или на веревке, сидя в специальном «седле», спускается сверху скалолаз, страхуемый товарищем. Вверху и внизу — два наблюдателя-корректировщика. Звучат только две короткие команды: «Выдай!» и «Закрепи!» Лишних слов здесь не произносят. Если камни, которые надо сбросить, лежат на скальных полках, то в качестве рычага скалолаз использует ломик, застрахованный капроновым репшнуром. Но как подобраться к камням, находящимся под карнизом, когда стена отбрасывает висящего на веревке скалолаза? Зацепившись багром за выступ, скалолаз подтягивается к щели. В нее вгоняется ломик. Но камень не поддается. И тогда, используя вес своего тела, скалолаз прыгает на ломик. Камень наконец вываливается и с грохотом летит вниз. А скалолаз вместе с пристрахованным ломиком улетает маятником в сторону, метров на десять—пятнадцать. Дай бог, чтобы не развернуло и не ударило затылком о скалу. Тут уж помогает реакция, координация движений, психологическая устойчивость. Человек привыкает работать даже в таких экстремальных условиях.

Не поддается крупный камень, лежащий на скальной полке. Скалолаз обхватывает его руками и валит на себя. И вместе с камнем он падает с обрыва вниз спиной. Камень летит на землю, а скалолаз — маятником в сторону. Но это самая простая работа — очистка склона.

Гораздо сложнее установка камнеловушек. Вначале висащие на веревках и кажущиеся снизу точками скалолазы-монтажники с помощью перфораторов бурят в камне отверстия — шпурь. Затем кувалдой они заколачивают в эти шпурь специальные металлические стержни — анкеры. Каждый анкер весит двадцать килограммов. А ведь их еще надо поднять на стену. Те же скалолазы-монтажники приваривают к анкерам «стойки» — семиметровые отрезки двутавровой балки по сто килограммов весом. Сварочный трансформатор тоже надо поднять на стену. Как! Это решают сами скалолазы. Помощи им ждать неоткуда. Наиболее трудная физическая работа — растащить «стойки» по склону, по всей длине устанавливаемой камнеловушки. Приварив стойки к забитым анкерам, скалолазы с помощью лебедки натягивают на них сорокамиллиметровые тросы, к которым крепится сетка. И все это делается на высоте, где нельзя допустить ни единой ошибки. «Вот и все. О чем тут, собственно, рассказывать!..»

Летом 1974 года Янович покорила две семитысячные вершины: высшую точку СССР — пик Коммунизма и пик Евгении Корженевской. А следующим летом, снова в команде Олега Капитанова, он становится серебряным призером первенства страны по альпинизму. В 1976 году Яновичу присваивают звание мастера спорта СССР. Летом того же года впервые в истории нашего альпинизма «двойка» Олег Капитанов — Юрий Янович совершает восхождение высшей, шестой категории трудности, покорила Ягнобскую стену.

Год спустя, когда закончились основные скалолазные работы на Нуреке, Яновича снова потянуло посмотреть новые места, новых людей. «Романтики захотелось» — как выразился он сам. И он уезжает на Север, на строительство Колымской ГЭС, где снова работает бригадиром скалолазов-монтажников. Но тоска по горам, по большому спорту не покидает его. И весной 1979 года Янович возвращается в Таджикистан, теперь уже на строительство новой — Рогунской ГЭС. Рогун — уже четвертая гидростанция в биографии Яновича.

Летом семьдесят девятого, снова в команде, возглавляемой Олегом Капитановым, он восходит на пик Арнавад и получает за это восхождение бронзовую медаль чемпионата СССР.

...Ядро рогунской бригады скалолазов составляют нурекчане. Работа та же, хотя Рогун и отличается от Нурека. Нурек располо-

жен на высоте семьсот метров над уровнем моря, Рогун — в два раза выше. Нурекская плотина, перекрывшая Вахш в самом узком месте Пуллисангинского ущелья, пока что — самая высокая в мире. Высота ее триста метров. Рогунская будет еще выше — триста пятьдесят метров. В отличие от Нурека, трехсотметровый машинный зал ГЭС высотой в шестьдесят метров на Рогуне будет расположен в глубине скального массива. Такого сооружения мировая гидростроительная практика еще не знала. При строительстве Рогуна учтен нурекский опыт. Расчистку склонов ущелья здесь ведут не снизу, как в Нуреке, а сверху. Если нурекчан оборка ненадежных мест на бортах створа (это самое узкое место ущелья, которое и перекрывают плотиной) часто заставляла прерывать основные работы, то на Рогуне это уже не повторится.

Я вхожу в общежитие, в комнату, где живут скалолазы-монтажники. Двое парней — невысокий коренастый крепыш Виктор Малюков и рослый, сухощавый, с бородкой флибустьера Константин Бойцов — кончают мыть пол. Я снимаю и ставлю на тряпку в угол резиновые сапоги, которые дали мне Яновичи. Небольшая прихожая напоминает склад альпинистского снаряжения — веревки, страховочные пояса, ледорубы, каски. Налево — аккуратная спальня. Мы проходим направо — в маленькую комнатку с большим столом, что-то вроде кают-компании. Чувствуется, что ребята обосновались здесь всерьез, обстоятельно. Они заваривают и разливают по стаканам таджикский кок-чай. Оба они альпинисты-разрядники. Виктор имеет в своем активе два «семитысячника».

Разговор заходит о Яновиче, о работе, о восхождениях — о том, что составляет их жизнь, причем о Яновиче парни говорят особенно охотно.

— Янович — звезда альпинизма. Но когда находишься рядом с ним, не ощущаешь этого. Скромн. Прост в обращении. Щедро делится опытом. На тренировках отдает все, что может. У Яновича куча друзей. На работе он у нас опытный скалолаз-монтажник. Где сложнее, где тяжелее — там Янович. И в альпинизме Юре нужно самое трудное, предельное. Мечтает о Гималаях, о самых высоких вершинах мира, — говорит более молодой Костя Бойцов.

Витя Малюков старше. Он сдержан, на вид медлителен, на самом деле — сгусток темперамента. Молчит, но желваки на скулах гуляют. Есть в нем что-то от Нагульнова из «Поднятой целины».

— Сам я на Нурек попал в 1973 году, — говорит он, — с людьми схожусь трудно. Я прямолинеен, резок. Были у нас с Яновичем стычки. Но когда в горах случилась беда с нашим другом, мы с Юрой познакомились по-настоящему, стали близкими друзьями, родными людьми. При всей его силе Янович в жизни мягок, беззащитен, как ребенок. Не обидчив. Когда надо, сдержан. Не пред-

ставляю, чтоб он мог кого-то ударить, обидеть, унижить. Джентльмен. За это его уважают. Юра — натура сильная. Соревнование у него в крови. Говорит: «Мне мало быть равным. В спорте хочу быть сильнее других, потому и тренируюсь». Дух соперничества у него очень силен. Сам я такой же. Даже на тренировках мы стараемся не бегать вместе.

Входит Павел Крылов, скалолаз-монтажник из этой же бригады. «Он Юру знает давно, его земляк», — говорят ребята. Паша стрелен, легок — прирожденный скалолаз. Глаза темные, с затаенной усмешкой, густые черные брови.

— Меня из Подольска перетянул на Нурек в 1972 году Янович. Он же возлек меня в альпинизм и в скалолазание. В обиходе с ним легко. В спорте — сложнее. Там он фанатик. Не жалеет ни себя, ни других. И в работе — заводной. Всегда впереди.

К разговору снова подключается Виктор Малюков:

— Для нас Янович — пример: смотри и делай как он. На работе это мужик, для которого не существует «нельзя сделать», «не могу». Никогда не ищет путей для отступления. Очень сильно у него чувство ответственности. Может работать «за идею». Будучи нашим бригадиром в Нуреке, никогда не спорил с начальством из-за расценок. Как-то раз было, что мы взбунтовались, а он говорит: «Вы рвачи — забыли, что производство финансирует наши экспедиции. Долги надо отдавать. Мы альпинисты — и потому должны сделать». И сделали, конечно. Благодаря ему очень спортивный дух царил у нас в секции.

Ребята вспомнили, как однажды ночью их вызвали на работу прямо со свадьбы Олега Капитанова. Надвигался паводок, который угрожал Нурекской плотине, самый большой паводок за одиннадцатилетний цикл. Необходимо было срочно закончить работы в тоннеле, предназначенном в катастрофических ситуациях перепускать излишки воды помимо плотины. И прямо из-за стола вся свадебная компания направилась к этому тоннелю. Работу успели закончить в срок.

И Виктор Малюков, и Павел Крылов, и Юрий Янович — все из Нурека. Нурек стал вехой, этапом их трудовой биографии, их жизни. И парней этих связало братство, как связывало оно воинов-эдинополчан, а позже — целинников.

Ребята показали мне газету «Комсомолец Таджикистана» от 16 мая 1976 года. Вот что сообщала она в заметке «Бег по вертикали»: «И невооруженным глазом можно было определить, что душанбинцы — не соперники нурекчанам в скальной гонке, что проводилась на отвесах у дороги к Байпазинскому гидроузлу. За три команды Нурека в первенстве ДСО „Таджикистан“ выступили представители всех поколений скалолазов: от призеров первенства

СССР до новичков-семиклассников... Юрий Янович, избежавший на массив, как кошка, и спустившийся, как птица... стал чемпионом».

Я вышел из общежития и зажмурился. Пока мы беседовали и гоняли чай, прекратился снегопад, поднялся и уплыл туман и открылись ослепительно белые горы, кольцом замкнувшиеся вокруг Сары-Булака. Яркое синее небо. Жгучее, яростное солнце. И тишина. Поразительная тишина, которую встречаешь только в горах.

И я вдруг позабывал этим парням, которым не надо расставаться с горами. Профессиональные скалолазы, и отпуск проводящие в горах, они прекрасно понимают, как нужна их профессия на уникальных высокогорных стройках. Не создано (да и вряд ли удастся создать ее) техники, способной в этих трудных условиях делать то, что делают они. Работа скалолазов-монтажников стала их делом, дала выход чему-то подспудному. Здесь слияние двух начал — решение инженерно-технических задач с применением навыков скалолазания высокого класса. Одно невозможно без другого. Коллектив спортсменов-единомышленников. Здесь не только тяжелая физическая работа, но и духовная жизнь. Это люди особого склада, рабочие нового типа.

Как гномы на ниточках, висят они на отвесной скале, по-муравьиному перетаскивают по склону стокилограммовые стойки для камнеловушек и при этом ощущают себя на восхождении. Борьба с реальными трудностями. Жара так жара. Снег так снег. Ведь и на горе приходится сталкиваться с этим.

И, словно на трудном восхождении, появляется спортивная злость, упрямство: «Не свалюсь, докажу, что я сильнее этой стены и этой жары». И силы новые появляются. Мобилизуются резервы человеческого организма. Чувство это надо однажды испытать самому. Объяснить его так же трудно, как объяснить — для чего люди ходят по горам! Что их там прельщает! Чего ради они рискуют, терпят жестокие испытания! Почему в разлуке с горами видят их во сне!

До свиданья, Рогун! До свиданья, Юра! До встречи в горах! Надеюсь, что в числе советских альпинистов, которые в 1982 году пойдут на штурм высотного полюса Земли — Джомолунгмы, будешь и ты.



Накануне уехал последний член экспедиции. Собственно, работу пора было сворачивать давным-давно, но Алексей все медлил, что-то не отпускало его от этого кургана, скрытого уже до самой земли и успевшего рассказать археологам так много за это лето.

Вот-вот должны были начаться дожди. И хотя здесь, под Майкопом, сентябрь, да и октябрь еще считаются бархатным сезоном, время полевых работ уже кончилось. Скоро придет ненастье, и невинная с виду речка Форс наберет воды в предгорьях и отрежет путь назад. И тогда четыре недолгих километра до ближайшего жилья — станицы Новосвободной — окажутся труднопреодолимой преградой. Потому-то начальник отряда Алексей Резепкин, как и было намечено по плану, работы свернул, сезонников отпустил, членов экспедиции проводил в Ленинград, в Институт археологии, а сам остался у своего кургана.

На следующее утро только три человека вышли на раскоп: сам Алексей, антрополог Ольга Суханова и бульдозерист дядя Миша. Ему предстояло сегодня убрать последние кубометры, оставшиеся от насыпанного

некогда в древности четырехметрового холма. Он этим и занялся, а Алексей — уже в который раз! — подошел к своему кургану, которого почти не было. И тут-то, в свежем разрезе, он увидел то, что так мечтал увидеть все эти месяцы, — ярко-желтую глину.

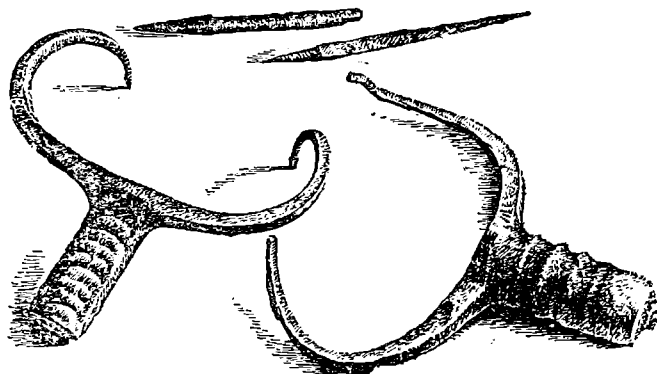
Урочище это, расположенное в предгорьях Кавказа, называется Клады. Произносится с ударением на последнем слого — Кладѣ, а означает то же самое — клады. Здесь, на площади, легко обозримой глазом, высятся рядом холмы и курганы. Много-много лет тому назад хоронили тут люди своих близких, собирали их в последний путь по своим обычаям и верованиям, клали рядом с ними домашнюю утварь, украшения, сосуды с пищей и насыпали в память о них высокие холмы.

Сколько с тех пор прошло времени (чтобы установить это, и организуются археологические экспедиции), сколько событий пронеслось над этими степями!..

А курганы сохранились, все шестьдесят.

Курганы-то сохранились, но сохранилось ли в них что-либо?

Место это недаром с давних времен носит свое название. Бывали тут в свое время кладоискатели-«счастливики», как не без иронии называли их. Рыли подкопы, грабили захоронения. Надо отдать им должное — трудная была у них работа и опасная: засыплет — никто не спасет; поймают — убьют. И тяжелая невероятно: земля курганов слеживается так, что и сегодня нож мощнейшего бульдозера за один раз срезает не более нескольких сантиметров.



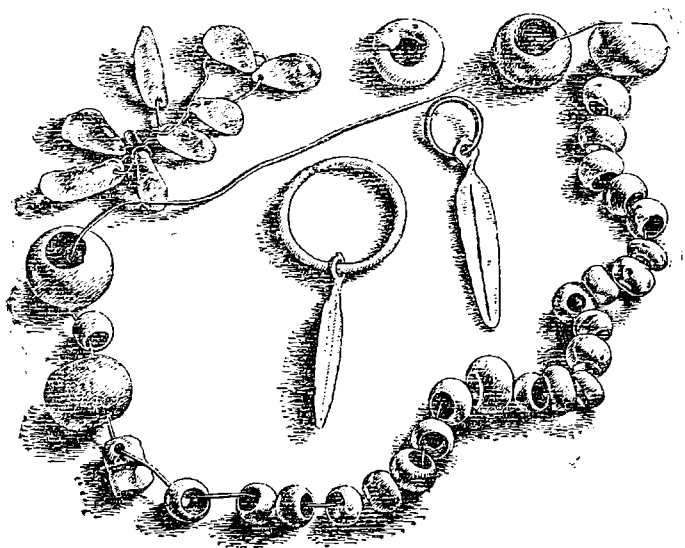
Однако грабили. Рыли глубокую яму, пробивались внутрь, потом, сделав недоброе дело, засыпали все землей — заметали следы.

В самом начале работы экспедиции Алексей Резепкин решал теоретически неразрешимый вопрос: с какого же кургана начать? Ведь всех шестидесяти и на две жизни археолога много...

Представьте: перед вами шестьдесят холмов. Одни хранят тайны минувшего. Другие хранят лишь тайну своего разграбления. Сдни появились тысячи лет назад, а другие могли появиться тут гораздо позже. Какой же из них?

О находках Алексея Резепкина будет написано много. И в популярных журналах и в научных. Находки — сенсационны, они невиданно обогащают наше представление о том, как жили люди в далекие-далекие времена. И будут, конечно, писать о том, что молодому археологу помогла удача. И еще — интуиция.

Удача — прекрасное дело, но почему-то замечено, что находит она того, кто ищет. А интуиция? Судите сами. Давайте зададим себе несколько риторических вопросов: какой курган сулит больше всего находок? Разуме-



ется, самый большой, ведь скорее всего именно под ним захоронили наиболее знатного человека. Серебряный курган в этом урочище — настолько большой, что его очень долго считали просто горой. Но девятиметровый Серебряный курган зарос вековым лесом, археологам вскрыть его сегодня не под силу. Однако еще один курган поодаль имеет, заметил Алексей, точно такую форму вершины, как Серебряный. Уж не значит ли это...

Итак, наблюдательность — одно из слагаемых интуиции.

Неплохо помогают интуиции и знания. Резепкин знал, что в этих местах можно было надеяться найти следы «майкопской культуры». Что такое «майкопская культура»? Вопрос этот для изучения истории жизни человека на Земле очень интересен, но к городу Майкопу имеет отношение лишь косвенное. Конечно же, Майкопа еще не существовало, когда в Азии, между реками Тигр и Евфрат, зародилась первая человеческая цивилизация: случилось это пять тысячелетий назад. Повторяем, было это в так называемом Междуречье, очень далеко от территории нашей страны.

И вот в конце прошлого века знаменитый русский археолог и историк Николай Иванович Веселовский недалеко от Майкопа вскрыл два могильных кургана и обнаружил в них золотые, бронзовые и керамические вещи, явно соотносимые с теми, что были найдены при раскопках в Междуречье и на Переднем Востоке. Значит, древнейшая человеческая цивилизация достигала и предгорий Кавказа!

Ее назвали «майкопской культурой», написали о ней немало исследований, а находки Веселовского составили гордость экспозиции Государственного исторического музея в Москве. Золото, найденное тогда ученым, как величайшая научная ценность хранится в Эрмитаже.

В урочище Клады ученые надеялись найти подобные вещи, при этом отлично понимали, что не всякие раскопки сулят находки. Не разграблен ли выбранный им курган? — размышлял археолог. Кто знает!.. Что-то может подсказать внимательно исследованная вершина: в грабленных курганах на поверхности обязательно есть едва заметная западинка — след прорытого некогда лаза. Хоть и старались его тщательно заделать, но с года-

ми свеженасыпанная земля просела больше древней, уже утрамбовавшейся.

Опыт — тоже неплохой помощник интуиции.

Этот курган грабили. Едва заметная западинка существовала на вершине, и еще много-много дней спустя, когда выбор был уже сделан, все свербило на сердце — а не напрасно ли копаем? Найдём ли то, что ищем? С трудом срезал бульдозер сантиметры веками слежавшегося грунта, плотного почти как камень. Только в прорытом прежде лазе земля снималась легко. Когда сняли два с половиной метра кургана, рыхлой земли не стало. Не хватило силенок у того давнего «счастливи́ка»!

Может быть, интуиция — это и немножко удача?!

А знаете ли вы, как делаются археологические открытия? Еще весной, загодя, начинает формироваться будущая экспедиция. Порой десятки людей самых разных профессий входят в ее состав. Конечно, в первую очередь — археологи. Очень хорошо, если в группе будет антрополог — он многое может разгадать, когда откроются древние погребения. Пол, возраст захороненного, причину смерти, характер захоронения — все это должен определить антрополог. Обязательно в группу входит чертежник, который профессионально фиксирует на чертеже находки. А уметь хорошо фотографировать в экспедиции обязаны все. Еще нужна в отряде рабочая сила: ведь археология — это немалый физический труд. Очень часто рабочими на раскопки ездят студенты и старшие школьники.

Собственно говоря, слово «раскопки» очень неточно отражает суть того, что происходит на месте древнего поселения или захоронения. Да, сначала копают, иногда даже с помощью современной техники. Когда механизмами снят и учеными на всякий случай просмотрен верхний слой земли, рабочая сила экспедиции — «копачи» — берутся за лопаты. Копнут — и осторожно откинут. А археологи разглядывают.

Как только лопата коснется чего-либо, что даже по поверхностным представлениям может вызвать интерес, она перестает быть нужной. В ход идут более тонкие орудия труда — лопаточки, ножички, потом кисточки. Тут уж за дело берутся девушки — их называют «чистильщицами». А потом, когда находки извлечены на

свет, с них сдувают каждую песчинку, фотографируют, описывают и, обернув в вату, отправляют в институт для дальнейшего изучения.

Конечно, не надо думать, что в любом месте земли можно начать раскопки и найти что-либо важное для науки. На то и изучается археология, чтобы не только объяснить обнаруженное, но и предсказать возможное. Поэтому археологу любое знание полезно.

Необходимо знание истории культуры: что было раньше в этих местах, стоит ли здесь копать? Необходимо знание минералов, материалов: из чего сделано найденное. Не повредит и знание почв. Совсем прекрасно быть еще этнографом и антропологом. Знание ботаники позволяет на месте находки судить, чем питались, что сеяли давние жители изучаемых мест. И древнюю географию надо знать — налаженные тогда торговые пути и военные перевалы во многом помогут сделать верные предположения. Физика и химия нужны для лабораторного исследования находок, а языкознание — чтобы угадать надпись там, где непосвященный увидит лишь орнамент. Всякое знание нужно археологу, многому учится он всю жизнь, и то не всегда удается прочесть новые страницы древней книги — жизни человека.

А Алексей Резепкин еще в университете увлекся таким неожиданным для археолога делом, как статистика. Широким должен быть кругозор археолога, но все же — какое отношение имеет к этой науке статистика?!

Но пригодилась и она. Все годы учебы и потом в экспедициях Резепкин занимался так называемыми дольменами. Что это такое? С виду — несколько каменных плит, положенных одна на другую. Эти погребальные сооружения древних расположены у нас по всему Черноморскому побережью Кавказа — «богатырскими хатками» называют их в этих местах. Из нескольких тысяч дольменов нетронутыми сохранились единицы: каменные плиты растаскивали, землю вокруг перекапывали самодеятельные любители древностей.

Казалось бы, что могли рассказать эти разоренные камни? А вот рассказали многое.

Тысяча этих древних сооружений была исследована Резепкиным, обмерена и разнесена по графам в соответствии со строгими правилами точной науки — статистики. И цифры заставили заговорить камни.

Оказалось, что наши дольмены по своим размерам бывают двух — и только двух! — видов. Значит, и сооруджали их люди, придерживавшиеся двух — и только двух! — традиций. Одни, как свидетельствуют камни, повели нитку «богатырских хаток» откуда-то из района Новороссийска, другие возводили дольмены несколько другого типа от Сухуми на север. И что интересно: в их конструкциях, размерах молодому археологу угадывалось что-то общее, сходное с захоронениями времен «майкопской культуры».

Чтобы убедиться в этом, надо было самому найти, вскрыть майкопский курган, своими глазами увидеть, сравнить в натуре, а не опираться только на описания и обмеры, сделанные некогда Веселовским. И тогда сомкнутся звенья одной цепи, будет прочитана еще одна страница древней книги.

Вот почему с такой надеждой до последней минуты стоял Алексей у кромки уже скрытого кургана и смотрел, как за бульдозером открывается новый слой земли. Здесь должен был храниться ответ.

И он хранился, под покровом ярко-рыжей глины, которой — он это знал — присыпали каменную плиту захоронения четыре тысячи лет тому назад.

— Стоп! — закричал он дяде Мише, едва увидел долгожданную глину. — Стоп!

Бульдозер был больше не нужен. Три лопаты осторожно снимали землю. День. Другой. Потом три маленькие лопаточки осторожно вынимали желтую глину.

Обнажив надгробный камень, Алексей выполнил все, что положено сделать чертежнику. Только после этого они осторожно подвели под плиту, перекрывающую погребение, трос и вскрыли захоронение.

Нет — потерпите еще несколько минут — им не ударили в глаза блеск погребального золота и сияние драгоценных камней, украшавших одежды. Это было, но чуть позже. А сначала они воочию увидели, что значит тысяча летия.

Четыре с половиной тысячи лет назад в этом самом месте, которое тогда, конечно, не называлось Клады, то ли под плач сородичей, то ли под скорбное их пение была поставлена на землю и потом засыпана высоким курганом каменная гробница. Стенки и крышка ее были пригнаны так плотно, что не просунуть между ними и лезвие ножа.

Над землею шли дожди. Каменела почва в кургане. Но и сквозь камень сочились капли, и каждая из них могла принести в гробницу пылинку. Мельчайшую пылинку. Этими пылинками за четыре с половиной тысячелетия на две трети заполнилась погребальная камера.

И уже в этой пыли Алексей Дмитриевич Резепкин обнаружил сокровища.

Работа археолога, на первый взгляд, больше всего похожа на работу криминалиста. Судите сами. Среди бронзовых вещей вдруг находят каменный топор. Что это значит? Что наряду с металлическими орудиями труда использовались еще и прежние, каменные? Возможно. Во всяком случае, это свидетельствует, что бронзовый век для той поры еще не полностью вытеснил каменный. Рассматривает археолог каменный топор пристальнее и видит, что на нем нет ни одной зазубринки. Значит, им не пользовались для работы? Явно — нет. А хранили, берегли. Значит, он был своего рода талисманом, ритуальной утварью? И начинает «говорить» простой отшлифованный кусок камня...

Из чего сделан этот «говорящий» топор? Оказывается, из камня, которого в этих местах нет и никогда не было: вот где пригодилась и минералогия. А где такой камень добывается? Только за тридевять земель! Вот, оказывается, в какие далекие путешествия пускались современники хозяина топора, вот ведь с кем были знакомы. А может, воевали?

Рассматривает археолог пылинки, крупинки, осколки, продолжает расследование. Археология — это криминалистика без преступления, искусство сделать красноречивыми немых свидетелей прошлого. Это искусство заставило заговорить на языке третьего тысячелетия до нашей эры, понятном только посвященным, и курган урочища Клады.

Вот бронзовый меч. Его нашли изогнутым в дугу. Археологи не удивились. В захоронениях часто встречаются такие. Давно установлено: отслужившее оружие сгибали, прежде чем захоронить его вместе с хозяином. Почему же так заволновались археологи, найдя этот меч? Потрясающим оказалось другое: его длина — шестьдесят три сантиметра. Такие мечи для раннего

бронзового века редкость вообще, а для европейской территории — находка уникальная.

Бронзовые сосуды и блюдо. Ну что, казалось бы, может рассказать столовая утварь о ее владельцах? Верно, мы из этой находки не узнаем, что ели в ту пору, а как подавали еду — на блюдах! — узнали. Узнали и другое, еще более важное. Бронза в этих изделиях оказалась такой тонкой, что стало ясно: просто вручную, без специальных приспособлений, такой не сделать. Вы только вникните: в такую-то давность — и механизмы!

Здесь хранился и набор плотницких инструментов. Нашли кусочки хлопчатобумажной ткани. Значит, четыре с половиной тысячи лет назад уже ткали? И еще это значит, что одни плотничали, другие ткали, третьи мастерили из бронзы, золота и серебра, то есть, говоря по-научному, уже существовало разделение ремесел.

Нашли в кургане, кстати, одну красивую вещь — позолоченный топор с топоричем, обвитым серебряной лентой. Предмет, явно не использовавшийся по прямому назначению. Но в этой находке дорожке его символического назначения, дорожке серебра и позолоты оказались чудом не истлевшие кусочки древесины топорича. Эти крохотные кусочки дерева, которые сейчас спрятаны в коробочки, смогут при радиоуглеродном анализе дать точный ответ на давно волнующий ученых вопрос — сколько лет «майкопской культуре»? Есть предположение, что она изрядно «постареет».

Но и без этого ясно: ленинградскими археологами найдено самое богатое из самых древних погребений человека не только на территории нашей страны, но и во всей Европе.

Когда через несколько дней после описанных событий в Клады прибыл второй отряд ленинградской экспедиции, археологи не поверили своим глазам — так ценны были находки. И поспешили на помощь — надо было успеть до первых дождей.

А в Ленинград, в отделение Института археологии Академии наук СССР, полетела телеграмма: «Количеством и качеством переждали Веселовского».

Она была нарочито составлена в нескольких туманных выражениях: вначале о таких находках всегда рискованно кричать на всю округу...

НОВОЕ ИМЯ

Мартыненко Юрий Михайлович родился в 1951 году в станице Ольгинской Краснодарского края. Воспитанник Ново-Джерелиевского детского дома. В 1971 году окончил Туапсинский морской гидрометеорологический техникум. Работал на островной метеостанции на Каспии. Служил в Советской Армии.

Учится заочно в Ростовском государственном университете на факультете журналистики.



Юрий Мартыненко



ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ

Рисунки Бориса Анкива

Тихоня

Среди сверстников друзей у него не было. Он избегал шумных игр, не ходил в походы, на танцах чувствовал себя скованно. По физкультуре у него наверняка была тройка. Никто, кроме мамы, его не любил. Никто не интересовался им, не спрашивал:

о чем тебе думается, парень? Почему ты молчишь, когда другие смеются? Свет каких надежд блуждает в твоих глазах?

Случалось, он получал двойки. Случалось, сверстники донимали его жестокими шутками. Случалось, мать приходила с работы усталой и не замечала, что сына переполняет огромная трепещущая радость, которой он хочет поделиться. Горе и радость он прятал в себе. И только оставшись наедине, горько плакал. Соседским мальчишкам и девчонкам его ставили в пример: «Спокойный, рассудительный, в дурную компанию не попадет». «Скромный, застенчивый», — говорили о нем учителя.

Застенчивых и скромных солдат не бывает. Во всяком случае те, которые приходят в отпуск, выглядят браво: форма с иголочки, грудь в значках, о выправке нечего и говорить. Ходят по селу героями. Девчата за их спинами шушукаются, улыбаются. Солдаты фасонят, важничают. Попросят пацаны самого видного: «Расскажи, как сержантом стал», — только и скажет: «Заслужил». Уходит призывник на службу безмянным Петькой или Ванькой. Знают о нем, к примеру, что рыж он от рождения, к учебе не слишком способен, с троек на четверки десять лет перебивался, да за соседской девчонкой то ли ухаживает, то ли собирается ухаживать. А возвращается: грудь не та, что раньше, — шире, руки не те, что раньше, — сильнее, — походка изменилась. Любуется им мать. «Возмужал», — говорят о нем бабы. Вздыхают по нему девчонки.

Неужели и этот тихоня за два армейских года станет сильным духом и телом человеком?

Матросом или капитаном...

Он подстрижен под «нулевку». На бледном лице застыла виноватая улыбка. Тонкие губы плотно сжаты. Высокий прямой лоб. Черные брови сдвинуты к переносице. На мгновение поднял глаза — словно сфотографировал меня — и снова устался в колени.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Тебя как зовут?

— Алик. Горюшин.

— А меня Виктор Тальский. Ты, случаем, не знаешь, где мы будем служить?

— Знаю. За Главным Кавказским хребтом. А может и дальше. Сейчас мы едем по Кубани. Я это по названиям станций определил. Паек нам дали на двое суток. Куда же еще можно ехать столько времени, как не в Тбилиси или Ереван?

— Ну ты даешь! Прямо как Шерлок Холмс.

— У меня по географии с четвертого класса только пятерки. Я не то что про Кубань там или Кавказ, про любой порт мира могу рассказать. Называй, какой хочешь.

— Сидней.

— Горные хребты подступают к городу с севера. Они тянутся параллельно береговой линии на протяжении трех с половиной тысяч километров. Вершины самых высоких гор покрыты снеговыми шапками. Ранним утром, когда город еще тонет в темноте, они светятся голубоватым светом. Это отражается полыхающая над океаном заря. Из ущелий на город наползает густой туман.

Живущий нервной, торопливой жизнью город в этот предрассветный час затихает. Гаснут, отсвечив положенный срок, звезды. По огромным пустым улицам бродит легкий ветерок. Он уносит в море бензиновый угар, заводские дымы. В зеленоватой воде бухты проступают причудливые очертания скалистых островов. Ломаная линия гор все четче проектируется на очень высокое, удивительно чистой голубизны сиднейское небо. Из тумана и сумрака навстречу прибывшим со всех концов земли судам выплывает огромный белый город — Сидней. Мне очень хотелось бы увидеть Сидней. И я увижу его. Матросом или капитаном — все равно.

Горюшин умолк. И только теперь я заметил, какая удивительная перемена произошла в нем. Слегка наклонившись вперед, он смотрел прямо перед собой и, вероятно, видел гораздо больше того, о чем говорил. В глубоких черных глазах вспыхивали искорки. Озаренный внутренним светом, он улыбался. И так непохожа была эта улыбка на ту, что я видел минутой раньше, — виноватую, выжидательно-испуганную, столько внутренней силы было в сказанном почти шепотом — «И я увижу его. Матросом или капитаном — все равно» — что я невольно воскликнул:

— Так вот ты какой!

Горюшин спросил:

— А тебе никогда не хотелось увидеть Сидней?

Я растерялся.

— Не знаю. Я об этом не думал.

Если говорить откровенно, то мне никогда не хотелось увидеть Сидней. У меня всегда находились дела поближе.

Будьте уверены!

— Товарищи призывники! Вы прибыли в учебное подразделение. За несколько месяцев вы научитесь передавать и принимать сигналы азбуки Морзе, работать на телеграфных аппаратах и датчиках, бегать километр за одну минуту сорок пять секунд, подниматься по сигналу «Подъем!» и одеваться за сорок пять секунд, разворачивать радиостанцию, стрелять из автомата, ходить в атаку, ползать, бегать с полной выкладкой, соображать со скоростью простейшей ЭВМ, петь строевые песни, ценить дружбу, любить Родину, если кое-кому из вас не хватало сердца, ума и времени, чтобы полюбить ее до призыва в армию.

Большинство из вас станет специалистами третьего класса, лучшие — сержантами. Не думайте, что это произойдет само собой. Вы будете вскакивать с постелей в шесть ноль-ноль и ни секундой позже и в течение шестнадцати часов жить так, как никогда еще не жили. Может быть, кто-то из вас и поплачет, Вам, товарищ призывник, — сержант подошел к Бершадскому, — наверняка не раз приснятся бабушкины пирожки. Чем быстрее вы забудете их, тем лучше для вашего желудка. Вам, — сержант подошел ко мне, — придется обзавестись бритвенным прибором. Вам, — Горюшин опустил глаза, — полностью изменить свое отношение к жизни. Вы любите ее? Можете не отвечать. Вы не знаете, за что ее любить.

Что вы хотели спросить? Моя фамилия Карпенко. Я заместитель командира взвода — замкомвзвода. Обращаясь ко мне, говорите: «Товарищ сержант, разрешите обратиться». И только на «вы». Ясно? «Так точно!» — нужно отвечать. Отныне вы не призывники, а курсанты. Запомните это. У кого плохая память, запишите в записную книжку.

Равняйся! Смирно! А сейчас я буду совершать над вами насилие. Придет время, и вы сами будете заставлять себя заниматься физподготовкой. Ваши тренированные мышцы, ваше здоровое тело станут требовать нагрузок, нагрузок, нагрузок. Это должно случиться к концу вашего пребывания в учебном подразделении. И это случится. Будьте уверены! На спортгородок бегом марш!

Утро

Пять часов пятьдесят минут. Казарма. Над тумбочкой дневального — окрашенная синей тушью тридцативаттная лампочка: ночное освещение. Вдоль стен двухъярусные койки. Между ними широкий проход. В конце прохода четким прямоугольником сереет окно. Ровной шеренгой выстроились сапоги и табуреты. На табуретах — солдатские обмундирование: тускло сверкают начищенные вечером бляхи ремней, белеют свежие подворотнички гимнастерок. Дневальные, отоспав предусмотренные уставом внутренней службы четыре часа, бодрствуют. Дежурный посматривает на часы. Пора.

— Товарищ сержант! Товарищ сержант!

В нижнем белье сержанты совсем не походят на тех суровых командиров, какими они бывают в учебных классах и на плацу. Но вот они бесшумно оделись — секундная стрелка настенных часов едва успела описать круг, — прогнали с лица сон и готовы наказывать и миловать, командовать и подчиняться.

В шесть ноль-ноль дневальные включают свет, команда «Подъем!» разрывает тишину. Будто ветром сдувает с кровати одеяла. Едва не садясь на плечи спящим внизу, прыгают на пол второярусники. Мелькают руки, ноги, сосредоточенные лица. Мгновенные — и брюки, гимнастерки, ремни уже натянуты на соответствующие части тела. Труднее намотать портянки.

— Пятнадцать секунд, — предупреждает дежурный.

Кое-кто начинает суетиться.

— Ах ты... — несется из дальнего угла приглушенная ругань, и тотчас:

— Один наряд на работу!

— Становись! — командует старшина, когда сорок пять подъемных секунд истекают. Все устремляются к месту построения. Не проходит и трех-пяти секунд, как последний, самый заspanный курсант, застегиваясь на ходу, занимает место в строю.

— Равняйся! Смирно! Свободны десять минут. Вольно!

Через десять минут: «Бегом марш!» — утренний кросс, обязательный для всех километр. Бегут, растянувшись в длинную цепочку, кто как хочет. Кто выкладывается, проверяя, на что он способен, а кто приберегает силы на предстоящий день. Свежий морозный воздух льется в легкие. Краснее красного солнца, разливающегося над белыми горами узенькую полоску зари, щеки

бегущих. Разговоры, шутки, пыхтение... У входа в штаб, присыпанные снегом, застыли зеленая елка и часовой. На штыке отражается солнечный луч, губы сомкнуты, строгий взгляд. Здороваясь молча. Получаю молчаливый ответ. Крутой поворот. Кто-то впереди падает, поскользнувшись на утоптанном солдатскими сапогами снегу.

— Курсант Копейка, вечером прибейте подковы!

— Есть!

Над горами висит длинное сигарообразное облако. Быть ветру. Даст он нам жизни, если завтра пойдем на полигон.

— Красота! — Горюшин показывает на облако.

Последние сто метров. Можно прибавить. Прибавляю. Позади остаются тяжело дышащий Бершадский и еще трое курсантов. Бег разминочный, но все-таки приятно быть впереди.

— Молодец, Тальский. Ты сегодня, как лошадь.

— Спасибо, товарищ старшина.

Смеется:

— Шутить?

— Так точно!

— Молодец, службу начинаешь понимать.

Построившись, рота идет на зарядку. Представители непереодящейся когорты сачков и добросовестные труженики, толстые, как Бершадский, и тонкие, как Горюшин, с большим или меньшим старанием выполняют два десятка упражнений. Каждый день, без выходных и праздников, независимо от погоды и содержания последних писем из дому. В первые дни зарядка тяготила. Но прошло время, и для многих она стала потребностью, как еда и чтение.

После зарядки: «Верхний ярус — умываться, нижний — правлять койки». Потом разноярусные курсанты меняются ролями. В семь двадцать рота умыта, одета, построена на утренний осмотр.

Две подковы, двадцать две пуговицы, звездочка на шапке, комплект из ниток трех цветов и иголки, военный билет, последнее письмо от Марусеньки и ее внушающая сержанту Карпенко «тихий ужас» фотография, расческа, носовой платок также должны быть на своих, отведенных им уставом и устными распоряжениями командиров отделений местах. И не дай бог, если под вашими ногтями хранятся частички почвы, принесенные с полей ратных трудов, и если портянка намотана не так, как она должна быть намотана.

Не более десяти минут продолжается процедура утреннего осмотра. Но как медленно тянутся они! И как желанна команда: «В столовую шагом марш!»

Солдатский завтрак: добрая порция гречневой каши, две полные острым соусом котлеты, белый хлеб, тридцать строго отмеренных граммов сливочного масла, чай. Масла, сахара и котлет на добавку не проси — не дадут. Зато каши ешь сколько захочешь. После завтрака — десять минут свободного времени. Все устремляется в курилки. Курят, слушают последние известия. Бедняга Бершадский использует это время, чтобы пожаловаться на судьбу. В восемь тридцать, как в школе — по звонку, начинаются занятия. В класс входит командир взвода.

— Встажь! Смирно! — командует сержант Карпенко.

Мы вскакиваем с мест, делаем шаг в сторону и замираем.

— Товарищ лейтенант, взвод к занятиям по материально-технической части радиостанций готов. Замкомвзвода сержант Карпенко.

— Здравствуйте, товарищи курсанты!

Тридцать человек единым духом выпаливают:

— Здравия желаем, товарищ лейтенант!

Громко и в лад звучит приветствие. Лейтенант удовлетворенно улыбается:

— Вольно. Садитесь. Здоровались отлично, а как будете отвечать? Желающие есть?

Глубоким молчанием отвечает взвод. Тридцать пар глаз смиренно смотрят в конспекты. Тридцать макушек: белобрсых и чернявых, вихрастых и аккуратно причесанных, предстают перед строгим оком командира взвода. Он выбирает ту, которая склонена ниже других.

— Курсант Бершадский.

Бершадский вскакивает, вытягивается.

— Расскажите тактико-технические данные радиостанции.

Радиостанция... коротковолновая радиостанция... трехсотваттная коротковолновая радиостанция. Э-э-э... Тэ-э-э... Да. Служит для...

Бершадский краснеет, беспомощно оглядывается по сторонам, прислушивается, упавшим голосом повторяет подсказки, наконец произносит несколько вполне связанных фраз и начинает лить воду. Командир взвода молча слушает его. Молчат и курсанты. Сержант Карпенко с помощью указательного и среднего пальца изображает латинское «V», что означает: «Два наряда на работу». Этот выразительный жест сбивает Бершадского с толку. Он умоляет.

— Всё?

— Так точно.

— Прекрасно.

Командир взвода пишет в журнале аккуратную двойку.

— Садитесь.

Бершадский садится. Урок продолжается. Все как в школе. Если не считать латинского «V».

Плац

— Равняйся! Смирно!

Замерли. Не шевелимся. Не дышим. Ноет спина. Затекали ноги. Перед строем застыл сержант Карпенко. В его сапогах, как в зеркале, отражается ровная шеренга курсантов. Ни единой складки на брюках. На перехваченной ремнем гимнастерке сержантские погоны, три значка.

— Вольно! Видели? Чувствовали? Объясняю, что такое строевая стойка.

Плац для солдата — святое место. Даже в самую мерзкую погоду его асфальтовое лицо сияет чистотой. На плацу учат подчиняться, командовать — учат дисциплине. С утра до вечера на нем слышатся очень скоро ставшие привычными отрывистые слова команд. Курсанты ходят шеренгами, колоннами, поодиночке, в паре, отделениями, взводами, ротами.

— Нале-во! Напра-во! Кругом — марш!

Командир отделения командует: «Отделение, шагом — марш!», и ходит отделение, с короткими перерывами, долгий академический час.

Школьная привычка горбиться ссутулила плечи Горюшина. Развернет он их пошире — руки в разлад с ногами идут. Не привыкли они к размашистым быстрым шагам. Болтались как плети. Зачастую не знал мой армейский друг, куда их девать: за спину ли, в карманы? Сладил с руками — прихрамывать стал: неловко намотанная портянка растерла ногу.

— Стой! — командует сержант Карпенко. — Снять сапог с левой ноги!

Снял Горюшин, морщится:

— Мозоль.

— Ваша мозоль, товарищ курсант, не мозоль, а так себе... У меня не такие были, когда я на вашем месте был. Смотрите, как надо. Дела-то одна секунда. Не поняли? И теперь вот так. Готово. Становитесь в строй. Продолжим.

Снова десять шагов. Четких, ровных, как по линейке. Смотри, делай как я. И — напутствие:

— Вы — советские люди. И земля под вами — советская. По такой земле и ходить нужно широко, уверенно, по-советски. Через два года вернетесь вы, курсант Горюшин, в свой родной Собачий хутор. Не гостем пройдете по улицам — хозяином. Не смиренным голоском, а голосом сына своей Отчизны, с честью выполнившего свой долг, скажете: «Здравствуй, мама! Вареники с картошкой наготовила?» Отставить смех. Не зачуханным акселератором предстанете перед Марусечкой, не бугаем откормленным — это не про вас, курсант Бершадский, сказано, — а защитником ее хрупкой красоты: сильным, мужественным и в меру скромным. Правильно я говорю?

— Так точно!

— Разойдись!

Ничего не снится

— Не могу я больше. Опротивело все. «Равняйся! Смирно! Отставить!» Подъем, отбой. Шестнадцать часов на ногах. На зарядку бегом, в туалет бегом. Бег в противогазах с полной выкладкой, на сто метров, на километр, на шесть километров. На тактике — перебежки, на физподготовке — бег на зачет. К вечеру я едва держусь на ногах. Я жду воскресенья, чтобы поспать два часа в кино. Что угодно отдал бы я сейчас за то, чтобы хорошо выспаться. Посмотри на меня: худой, как скелет. Даже в пионерском лагере я таким не был. Я засыпаю, едва прикоснувшись к подушке. Мне ничего не снится. Мне ни о чем не думается. Я все время боюсь получить внеочередной наряд. Строевую подготовку жду с ужасом. Очутившись на плацу, забываю, где руки, где ноги, где лево, где право.

Над Бершадским тоже смеются. Но он — Бершадский. Ему все равно. А я злюсь на себя, на сержантов — на всех. Я противен сам себе. Я ничего не умею. Посмотри на мои пальцы. Я поколол

их, когда пришивал погоны. У меня на ногах не сходят мозоли. Не могу я больше терпеть. Завтра пойду к командиру роты — попрошу, чтоб перевели куда угодно.

Он заплакал, уткнувшись в ствол тополя. Я отошел в сторону, оглянулся: шинель сидит мешком, застегнутый на последнюю дырку ремень едва держится на бедрах, шапка измятая. Опять командир отделения даст ему внеочередной наряд на работу. Опять в час, когда другие будут отдыхать, он будет чистить картошку.

— Алик, слышишь, хватит, ну хватит. Посмотри на мои руки. Видишь?

— Вижу.

— Погоны пришивал.

— Ну и что?

— И на плацу не только ты чувствуешь себя неуютно. Копейка номера почище твоих выдает — и ничего, носа не вешает. Сколько раз ты подтянулся на первом занятии по физподготовке?

— Ни разу.

— На последнем?

— Ни разу.

— А я в школе подтягивался четырнадцать раз, а здесь всего шесть. Так чьи дела лучше?

Улыбнулся.

— Мне тоже ничего не снится. Я тоже похудел на два килограмма. В карантине всегда так бывает. Акклиматизация. Мне и отец говорил об этом.

— Правда?

— Правда.

Вдохнул. Вытер рукавом слезы.

— Ну, пока, побежал я. Мне к наряду готовиться надо.

Письма читаем вместе

— Горюшкин! Тальский! Вам письма.

Пристраиваемся на краешке скамьи. Алик открывает конверт. Внутри сложенного вдвое тетрадного, в косую линейку, листа вложен рубль. Лист исписан крупным корявым почерком. Читаем.

«Здравствуй, сынок! Получила намедни твое письмо. Порадовало оно меня очень. Да больно коротко ты пишешь. И редко. Из письма в письмо — «все нормально». Разве ж так можно. Купцова-то, Никитична, почитай через день письмо получает. Пишет Витька, что старшина над ним строгий дюже. Чуть что не по уставу, наказывает.

Знаю я, сынок, что ты с людьми плохо сходишься: все тебе не так, все хочешь по-своему сделать, да не умеешь и маешься оттого, молчишь, таишься ото всех. Будут над тобой командиры командовать, так, не так — подчинись, не перечь. Не школа ведь, армия. Выучат тебя на сержанта, тогда будешь жалеть своих подчиненных, как зачнешь. Да наберись как-нибудь смелости, скажи старшине, чтоб давал он тебе хоть какое ни есть послабление. Все-таки тебе едва восемнадцать исполнилось. Работать ты,

поди, не работал. Со школы да в армию. А в службу втянуться надо, как в тяжелую работу. Сынок, прислал Купцов фотокарточку со службы-то. И такой он ладный в военной форме, ну впрямь отец в молодости. И ты сфотографировался бы. Я и перевод тебе затем послала. Если получишься неудачно, я никому не покажу, не бойся.

Да напиши, тепло ли у вас там на юге, как сказывают; коли нет, так пришлю тебе носки шерстяные. И дружку твоему в ночь свяжу. Только какая у него нога супротив твоей, больше или меньше?

Сынок, просил ты наши сельские новости пересказать. Да какие у нас новости. Озеро в этом году рано стало. Мальчишки бегают уже на коньках. Пашка соседский провалился, но из прорубь. Выбрался сам. Заледенел весь, пока домой прибежал. На ферме по весне будут механизацию ладить. Облегчение нам, дояркам, будет. Вот и все наши новости. Спасибо тебе за добрые пожелания к празднику. До свидания. Твоя мама».

Это Алик придумал. «Давай, — говорит, — письма из дому будет читать вместе. Мы с тобою друзья. А друзья должны делиться всем, что у них есть».

Песня

Курсантский день заканчивается вечерней прогулкой. Проводит ее «крупный специалист по строевым песням» старшина роты старший сержант Гира. В половине десятого он выводит роту на плац, командует:

— Песню!

Старшине ясно, что курсанты совсем не прочь пройти обязательный километр молча.

— Громче. Вы же не причитать собираетесь, а петь. Рота, песню! — повторяет он команду.

— Споем! — отвечают курсанты как можно громче и запевают: «Как будто ветры с гор трубят солдату сбор».

— Ударение под левую ногу! — напоминает старшина.

«Дорога от порога далека».

— Громче.

Надеясь на скорое окончание прогулки, курсанты не жалеют голосовых связок. Старшина доволен:

— Молодцы! Если и на смотре так будете петь, задавим вторую роту по всем статьям. Концовка вот только неудачная. Давайте на сон грядущий еще пару раз споем. Песню!

— Отставить!

— Рота, стой. Смирно! Товарищ майор, первая рота находится на вечерней прогулке. Старшина роты старший сержант Гира.

— Безобразно поете, товарищи курсанты. Я живу здесь поблизости. Каждый вечер слышу, как вы тут гуляете. Жалко мне вас. Хлопцы вы здоровые, сильные, и глотки у вас завидные, а вот ума, чтоб песню спеть, вам не хватает. Да и что это за песня такая: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Какие дожди? И почему дожди, а не град или, скажем, мокрый снег? Товарищ старшина!

— Я.

- Есть у вас в роте хотя бы пять-шесть полтавских хохлов?
- Полтавских нет, товарищ майор. Есть закарпатские.
- Вызовите их из строя.
- Есть. Курсант Рудюк!
- Я.
- Выйти из строя!
- Есть.
- Курсант Нечепуренко!
- Я.

— Становитесь ближе, кучнее, слушайте: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой». Слышали, как надо петь?

- Так точно!
- Слова все знают?
- Так точно!
- На месте шагом марш! Запевай.

Закарпатские хохлы переглянулись и начали. Получалось неплохо. Однако майор был недоволен. Он остановил певцов, недослушав куплет.

— Тише. Когда цветут яблони, в садах стоит тишина. И туманы над водой стелятся тихие. И Катюша на берег не галопом выбегает, а выходит. Не топайте левой ногой. Вам что, сапог не жалко? И глоток не рвите. Они вам завтра пригодятся: на тактике «ура» кричать надо будет. Командуйте, старшина.

— Рота, песню!

— Споем, — приглушенно, но дружно ответила рота, и над плацем, над казармами, над залитым разноцветными огнями городом поплыла тихая песня.

В хоре голосов я различил свой неровный, хриловатый — стал петь тише. Рядом звонко выводит гласные Алик. Сзади налегал на басы Бершадский. Хохлы умело рисовали мелодию. Песня пелась легко, без надрыва.

— Перепоеют они нас, — сказал кто-то из курсантов второй роты, когда мы проходили мимо их казармы, — старшина Гира знает толк в строевых песнях.

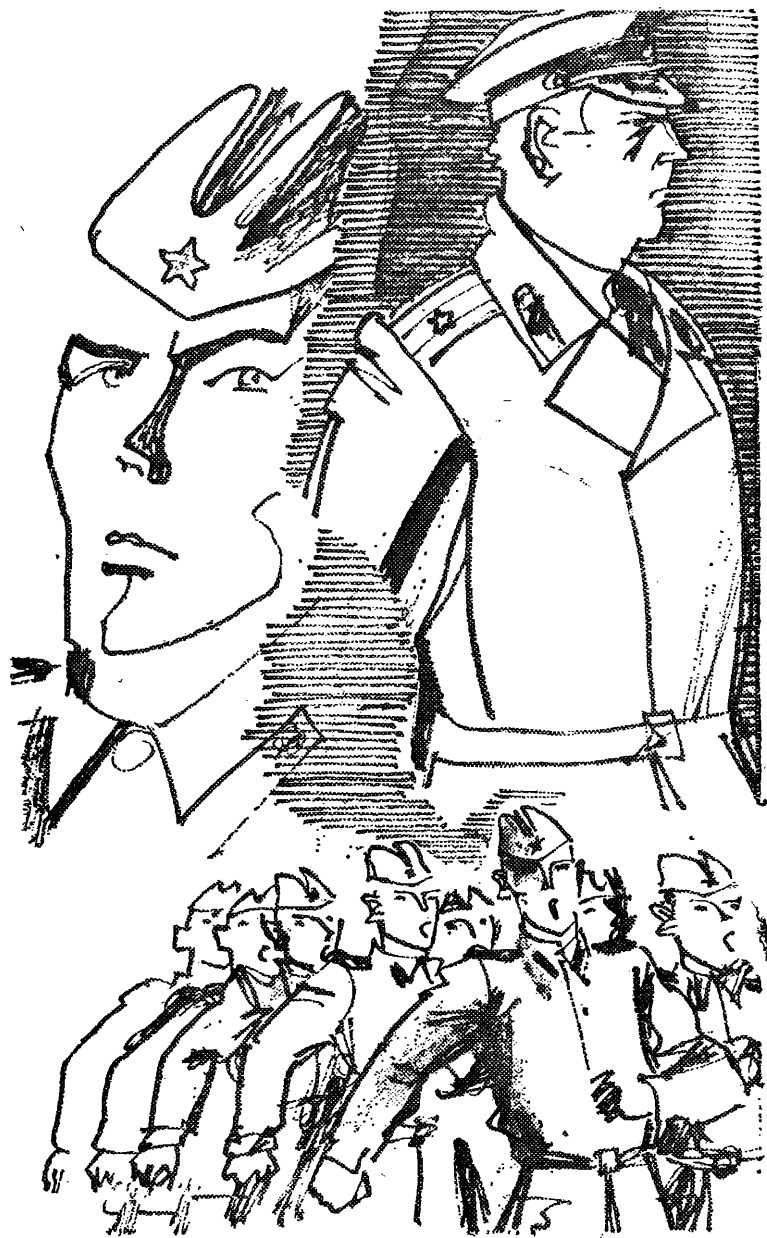
Азбука Морзе

- Ти-таа-таа-таа-таа. Ку-даа-ты-пош-лаа.
- Единица.
- Ти-ти-таа-таа-таа. И-дут-сол-даа-ты.
- Тройка.
- Ти-ти-ти-ти-таа. Ко-ман-дир-пол-каа.
- Четверка.

— Главное, запомни напев каждой цифры. Тогда не нужно будет считать точки и тире. Морзянку слушай, как музыку. Понял? Принимай.

Посыпались маленькие и крупные горошины. Собираю их в кучки. Шестерка, двойка, «таак-ка-ша-қи-пит» — еще одна шестерка. Длинные и короткие сигналы наползают друг на друга, перемешиваются, образуя звуковую свалку. Не поймешь, где точка, где тире. Сплошная какофония.

— Записал?



— Записал.

— Первые знаки верно, а потом... Потом дело дрянь. Тебе слон на ухо не наступал?

Шутит.

— Наступал, товарищ сержант. И очень часто. У нас в деревне словов...

— Что ж, придется перевести тебя в другое подразделение. Радиотелеграфиста из тебя не получится.

— Почему не получится, товарищ сержант? Вот увидите, получится. Спать не буду!

— Спать надо, товарищ курсант.

— А как же Горюшин?

— А что Горюшин? Прием у него хороший. В физподготовке слаб. Ну, это дело поправимое. Не могу я уделять тебе каждый вечер по два часа, не железный ведь. Спать тоже хочется.

— Товарищ сержант, со мною будет заниматься Горюшин.

— Но он не умеет передавать.

— Научится. Он способный. Дайте неделю срока. Он научится. Мы будем заниматься по три часа каждый день. Я буду принимать хорошо. Мне нужно только выучить напевы знаков.

Ти-ти-таа-таа-таа, таа-таа-ти-ти-ти.

— Записывать не спеши. Прозвучала цифра — пройди ее мысленно, потом запиши и внимательно слушай. Я буду делать большие паузы между знаками.

— Я никогда в жизни не напевал. Мне по пению ставили тройку только за то, что я знал теорию.

— Ладно. Не хныкать!

«Смотри ты, у него командирский голос прорезался».

— Применим еще один метод: вдалбливание. Сегодня я передам тысячу семерок. Эта цифра звучит очень выразительно, и слова к ней неплохие. Ты слушай, если хочешь, записывай. Завтра целый день напевай только эту цифру. Даай-даай-за-курить. К вечеру она должна влезть тебе в мозг и остаться там навсегда. Только напевай ее целый день. Таа-таа-ти-ти-ти. Таа-таа-ти-ти-ти.

Метод вдалбливания. В столовой, на марше, в строю, в бане, в наряде, во время занятий по тактике ведения боя: «Таа-таа-ти-ти-ти. Таа-таа-ти-ти-ти».

Наконец прорвало.

Ночью во сне услышал тоненький писк. Воробьишка, сидя на ветке, дразнился:

— Даай-даай-за-курить.

— Кыш!

Я махнул на него рукой. Он перелетел на другую ветку.

— Даай-даай-за-курить.

Я бросил в него палку. Он устроился на другом дереве, и снова:

— Даай-даай-за-курить.

— Семерка! — крикнул я во все горло и проснулся. Прислушался. В казарме — непривычная тишина. Подо мной, на первом ярусе, ровно дышал Алик.

«Не высыпается он из-за меня. Глаза поутру опухшие. И бегать стал хуже. Не хватает ему часа, отрываемого нами от сна, чтобы восстановить силы».

Я перевернулся на другой бок, закрыл глаза и снова услышал совершенно отчетливо два длинных сигнала, три коротких. Во мне звучала семерка!

Завтра я это смогу...

Со старта он решительно рванулся вперед, легко обогнал постоянного своего соперника Бершадского, но уже на втором десятке метров сбавил темп, засеменял, оттолкнулся раньше времени и, не удержавшись на краю ямы, упал. Сержант Карпенко помог ему выбраться из ямы, сел рядом, подбодрил:

— Яма всего три метра ширины. В школе небось на четыре прыгал с гаком.

— Четыре сорок пять. Так то в школе. Там яма условная, песком засыпанная, а здесь бетонные стенки на полтора метра вниз уходят и дно бетонное.

Растерянный, жалкий, в глазах слезы. Он не перепрыгнул яму ни со второй попытки, ни с третьей.

— Трус, — говорили ему, — размазня.

— Не курсант, а сопли, — обмолвился как-то командир отделения, разговаривая с сержантом Карпенко.

— Почему ты боишься? — спросил я Горюшина, когда мы остались одни.

— Не знаю, — ответил он, — боюсь, и все.

— Неужели тебе никогда не приходилось бегать, лазать по деревьям, перепрыгивать ямы! Играл ты когда-нибудь в казаков-разбойников?

— Нет.

— Во что ж ты играл со своими друзьями?

Он опустил глаза:

— Ни во что. У меня не было друзей. Я не ходил в большие компании. Потому что не мог быть в них первым. А мне хотелось быть только первым. Я гордый... очень. Ты еще не знаешь...

Он умолк. Растерявшись от такого признания, молчал и я.

... — Вперед!

Двое ушли со старта.

— Приготовиться следующим.

«Ну иди, твоя очередь». — Ушел. Ладит ногу к еле заметному бугорку, наклонился вперед чуть больше, чем нужно. Клонет на первом десятке метров, потеряет секунду.

Оглянулся назад. Улыбнулся. Как будто сказал: «Спасибо, не волнуйся». — «Да брось ты! Я же не волнуюсь. Просто хочется, чтобы стал ты смелым человеком».

— Вперед!

Рванулся со старта. Разбег. Двадцать метров. Яма. Прыжок! И снова стремительный бег. Как будто не было ямы. Будто яма эта — «бетонные стенки уходят на полтора метра вниз, и дно бетонное» — сущий пустяк. Лабиринт. Влево, вправо. Влево, вправо. Золотое правило — не суетись. Только бы не сбилось дыхание. Дыхание на полосе препятствий — самое главное. Двухметровая стенка. Разбег. Толчок. Нет. Не вышло. Движения скованы. Не хватило уверенности. В момент прыжка или чуть позже закралось в душу сомнение: а смогу ли? Да! Да! Да! Нужно верить в себя! Нужно верить! Верить!

Снова препятствие. Ни секунды раздумья. Маленькая победа над страхом. Молодец.

— Молодец!

Последний рубеж. Три гранаты и цель. Как ни стучит в висках кровь, как ты ни разгорячен — успокойся, сосредоточься. В жизни тоже бывают минуты, когда нужно остановиться на полном ходу и подумать.

Бросок. Нет, неточно. Не волноваться. Еще две попытки. Бросок. Снова неточно. Как быстро текут секунды! Бросок. Совсем не годится. Совсем не то. Что ж ты медлишь? Не казни себя понапрасну. Впереди еще стометровка. Шире шаг. Выше голову. Трудный это бег, знаю. Сердце устало менять ритм работы, мышцам уже не хватает кислорода. Только одну мысль нужно держать в голове: бежать, бежать, бежать.

Вершадский взмахнул руками, потом согнулся, сошел с дистанции, повалился в снег.

А ты должен прийти к финишу. Не в землю смотри, в небо. Всю волю свою, остаток сил собери в последний рывок. Прибавь хоть самую малость. Это я бегу рядом с тобой. Это я, Виктор Тальский, твой друг. Ну еще. Ну чуть-чуть. Добежали. Ходить! Ходить! Перебрали одну секунду. Слышишь, Алик, нужно сбросить одну секунду! Улыбнулся усталой улыбкой:

— Завтра... Завтра я это смогу...

Свободное время

После ужина большая часть курсантов устремляется в бытовку. Час свободного времени: делай, что хочешь. Хочешь, ничего не делай. Никаких тебе «равняйся». Никаких тебе «отстать».

У печки-голландки собираются любители пения. Поют под гитару про несчастную любовь, про разлуку, про родные края. Голоса не бог весть какие. Но слушатели не в претензии. Слушают, хвалят, подпевают. Хлопают в ладоши. Начинают обычно Олищук и Осипович. Подражая «Песням», они поют: «Белая Русь ты моя». Их сменяют два земляка-гуцула. «Дует Рудюк и Вишня, — объявляет один из них, — исполнит украинские народные песни». Рудюк и Вишня поют без сопровождения. Но чаще всего именно их песни удаются аплодисментов.

Случается, изъявит желание петь Мамедов Мамед из Ленкорани. Поднимется со стула, начнет выводить на никому не понятном наречии что-то печальное. Остановят его:

— Мамед, скажи, кто обидел?

Рассердится:

— Зачем мешаешь? Ты пел, я молчал. Я пою, ты молчи. Про хорошую девушку песня, про любовь!

— Ладно, пой. Только не так громко.

Любители острого слова собираются в углу, под образцами причесок. Рассказывают кто о чем. Не нахвалится своим аулом чеченец Абдуллаев. И воздух в его ауле пахучий от кизячного дыма, и вода в арыке сладкая, как арбуз, и небо совсем не то, что здесь, — синее, и горы не те — величавей, зима холодней,

лето жарче. И сил у Абдуллаева хватило б на большее, если бы служил он в родном ауле.

— Хвали себя, Абдулла, — поддерживают его слушатели, — сержант не похвалит, не понять ему твою азиатскую душу.

Армянин Бадоян утверждает, что Арарат — самая высокая гора в мире. Никто не решается напомнить ему о Джомолунгме.

Никто не сомневается в том, что Челидзе до призыва в армию ездил на своей «Волге», а Иванов написал полторы сотни стихотворений, одно из которых было напечатано в районной газете.

— И руки твои, и ноги твои! — с жаром декламирует он, и слушатели не решаются кашлянуть, и сапожных дел мастер бакинец Клейман прекращает работу и замирает, уставившись в одну точку.

В Ленинской комнате любители шахмат водят шахматные подразделения в атаки, защищаются, маневрируют, решают стратегические задачи. Размеры поля и правила игры не позволяют им окапываться, кричать «ура», стрелять по мишеням, бежать, распавшись цепью. Однако это обстоятельство их не удручает.

Час свободного времени многие посвящают письмам. Пишут сосредоточенно, подолгу обдумывая фразы. Тишина нарушается только причмокиванием да почесыванием затылков. Как то, так и другое выражает высшую степень творческих усилий.

Наряд

У старшины Гиры разговор короткий:

— Почистить, вымыть, покрасить. Об исполнении доложить через пятьдесят пять минут. Сделаете работу некачественно, будете трудиться и завтра. Старший группы — курсант Тальский. Задание ясно?

— Так точно.

— На плац шагом марш!

Пришли. Объект работы — шесть зеркал. Курсанты смотрятся в них, занимаясь строевой подготовкой. Зеркала покрыты пылью, грязью. Краска на рамах кое-где облупилась. Зеркал шесть — нас пятеро. Бершадский выбрал самое чистое, самое необлупившееся, провел кистью по раме — капли краски упали на асфальт — быстро стер их рукавом шинели, соскоблил с зеркала частички грязи, вымыл его и, посчитав дело сделанным, устремился в кафе.

— Прорва! — не выдержал кто-то.

Бершадский оглянулся, однако ничего не сказал. Спит.

Молча тру «наждачкой» раму зеркала. Посматриваю на часы. Ну и работка! И как только у старшины Гиры хватает ума каждый день находить для нарядчиков что-то новенькое. Несомненно, он обладает каким-то весьма ценным даром, без которого старшина не старшина.

— Готово, — докладывает Копейка.

— Оформляй ничейное зеркало.

— Угу.

Хорошенькое дело: в час, когда все нормальные курсанты наслаждаются заслуженным отдыхом, отскрести ржавчину. А что сделаешь? Как ни старайся служить по уставу, а раз в неделю наряд на работу схлопочешь.

— Готово.

— Помоги Копейке.

Чем сейчас занимается Алик? Петь он стесняется, анекдотов не знает, на письмо ответил вчера. Наверное, читает книжку, устроившись где-нибудь в уголке, или скучает. Бывают дни, когда у него никакая работа не ладится, ни о чем не думается, ни с кем не разговаривается. Такое состояние он называет пережитком прошлого. Неужели в прошлом все его дни были наполнены молчанием и одиночеством? Должно быть, трудно ему жилось. Ведь сказал он однажды: «Мне неприлично смеяться».

Кто-то толкает в плечо.

— В чем дело?

— Время.

— Построиться. Побегу доложу.

Прибежал.

— Товарищ старшина! Ваше задание выполнено. Старший группы нарядчиков курсант Тальский.

— Поидемте, проверю.

Придирчиво осматривает каждое зеркало.

— Не хотите вы отдохнуть, товарищи курсанты. Чье это зеркало?

— Ничье. Это шестое зеркало, товарищ старшина, а нас пятеро.

— Я знаю. Вам что, времени не хватило? Завтра хватит. Видите шесть зеркал на противоположной стороне плаца?

— Так точно.

— Оформите их завтра. И это, ничейное, доведете до кондиции. Время исполнения прежнее. Старший группы курсант Копейка. Все ясно?

— Так точно.

— Не понял.

— Так точно! — отвечаем мы жизнерадостно.

— Разойдись!

Разошлись.

На следующий день снова чистили, скребли, красили. Бершадский, закончив первым, направился было в кафе, но на полпути остановился, потоптался на месте, вернулся обратно и, ни на кого не глядя, принялся мыть ничейное зеркало.

Как помочь?

...Он сказал:

«У меня были пухлые щеки, как булочки по две копейки, большой живот. При встрече одноклассники не со мной здоровались, а с ним: «Привет, барабан! Ну как покушал?»»

А зад... каждому хотелось пнуть его посильнее. Толстая короткая розовая шея. Мне было противно смотреть на себя в зеркало: не человек — образина. Я ненавидел себя. Никто не хотел сидеть за одной партией со мной.

Какие там «души прекрасные порывы»! Какое там будущее! Я был просто толстый и глупый. «Жирнецкий», «кабанчик», «мясокомбинатик» — я слышал это каждый день. Мне всегда хотелось быть сильным. Идет по улице отличник, остановить;

— Э-э, парниша, здорово! Не узнаешь? — Дать под дыхало левой: — Это я, мясокомбинатик. Как дела? — Ущипнуть так, чтоб лицо перекосило от боли: — Ну пока! — Пнуть коленом под зад так, чтоб плюхнулся на асфальт. — Будь здоров».

Когда я впервые увидел его, он был ленивым, самодовольным, наглым. А сейчас он просто жалкий. Шестнадцать курсантских часов сломали его. Он не способен идти вперед. Он в тупике. Ему нужно помочь. Сейчас. Иначе он потеряет веру в людей. Он добрый. Очень долго никто не напоминал ему об этом. И он забыл себя прежнего. Верно, Алик?

— Верно. Я тоже так думал. Только не умел сказать об этом. Но как ему помочь?

«В твоём зажатом кулаке...»

День прошел. Последний день службы в учебном подразделении. Начался он, как обычно, с подъема. Сорок пять секунд — срок более чем достаточный для того, чтоб одеться. Многие курсанты поняли это к концу пребывания в учебном подразделении. Я тоже. Пока Алик впрыгивал в брюки, я блаженствовал под одеялом. И вдруг (такого еще никогда не было в нашей курсантской жизни) прозвучала команда:

— Отставить! Можно поспать до семи.

Можно поспать до семи. Целый час. Дождались милости от старшины. Или это расщедрился командир роты? А может, комбат?

Какое-то насекомое ползло по верхней губе. Я открыл глаза. Во весь рот и даже больше — до ушей — улыбался Алик:

— Нас направляют в одну строевую часть. Старшина Гира сказал. Завтра едем. Возьмешь меня в свой экипаж?

— Нужен ты мне! Дай поспать.

— И Бершадский с нами поедет.

— Вот это новость! А говорили, всех в разные места пошлют.

— Говорили.

— А ты не выдумал?

— Чего?

— Про то, что мы в одной части служить будем.

— Ну что ты! Мне старшина Гира сказал. «Пошлем, — говорит, — вас в одно хорошее место. Раки там не зимуют. Климат неподходящий, а служить можно». Куда это нас пошлют?

— Надоел ты мне. Опять нянчиться с тобой, сопельки вытирать.

— Ну ты!

Кулак мосластый. Да и к силе своей Алик еще не привык.

— Руки распускать!

Сгреб его в охапку, поднял на второй ярус.

— Сколько каши ни сл, а весу не прибавилось. Уж, видно, конструкция у тебя такая.

— Да. Такая.

Алик задумался, вздохнул:

— Слушай, может, мне дадут хотя бы младшего?

— Нет, Алик. Строевую ты не сдал. ЗОМП тоже.

— Ты прав. Не дадут.

— Горюшин! Тальский! Вам что, захотелось напоследок поработать на кухне?

Алик прыгнул вниз, замер. К нарядам у него особое почтение. Пожалуй, во всей роте только Бершадский отработал больше сверхурочных часов, чем он.

«Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Первую часть этой армейской заповеди чаще применяли к Алику, вторую к Бершадскому.

Здесь, в армии, я впервые задумался о времени...

Каждый живущий по-своему оценивает, распределяет отпущенное ему время. «Вот окончу школу, и все будет по-иному, тогда я покажу, на что способен». После школы — вуз, работа, семья, десятки больших и маленьких дел, проблем, забот. Красивые мечты остаются в детстве. Это дорога не всех. Далеко не всех, но все же...

Время идет. Где-то на склоне лет, чувствуя, что уже недолго осталось шагать по земле, жизнь, почти прожитую, вспоминая, человек спрашивает себя: «А для чего я жил? Что осталось после меня людям? Что я сделал?» И выясняется, что сделано очень мало, можно было сделать гораздо больше, а времени уже нет. Жизнь прошла.

Одних людей человечество будет почитать, любить и помнить, других помнить и ненавидеть. Большинство живших на земле, шаг за шагом двигавших вперед историю, забыто. И это естественно. Не всем дано быть гениями. Но если бы каждый за свою жизнь сделал чуть больше того, что он сделал, если бы каждый стремился к достижению намеченной цели, отдавал этому все свои силы и время, неторопливая старушка-история ушла бы сейчас намного дальше.

Однажды я слышал, как Бершадский пел: «Проходит жизнь, мелькнет мечта, как белый парус вдаль. Лишь пустота, лишь пустота в твоём зажатом кулаке». Мелодия песни, в которой печаль, доходящая до отчаяния, и слова «лишь пустота», повторенные дважды, поразили меня. Почему пустота? Так не должно быть. Ведь жизнь огромна и прекрасна. И нужно жить, жить, жить, каждый день, каждый миг ощущая бесконечное счастье творящей, мыслящей, радостной жизни, каждый день отдавая окружающим тебя людям тепло сердца, мысли, силы.

Я не верю, что Бершадский всегда был только толстым и глупым мальчиком. Некрасивый, средних способностей, он никого не интересовал. От него отмахивались. А ему очень хотелось действовать. Он убежал от одиночества в компанию уличного короля. Там ему привили вкус к низменному, пошлomu. Он восторгался циничными афоризмами своего повелителя. Он готов был унижаться и унижать, только бы вновь не остаться в одиночестве. Сознание причастности к делам, требующим некоторой смелости, наполняло его гордостью. В компании он полюбил себя. Когда родители и товарищи по школе заметили, как он изменился, было уже поздно.

В армии Бершадскому приходится вести мучительную борьбу со своим «я». Его поставили перед необходимостью задумываться над своими поступками.

Атака

Было утро. Огромное красное светило вставало из-за подернутых сизой дымкой гор. В полнеба полыхала заря. В низинах бродили, распадаясь в клочья, туманы. Теплый влажный ветер приносил в настороженно притихшие окопы запахи пробившихся к солнцу трав, шорохи насекомых. Вскрикнула невидимая птица. Щелкнул вставляемый в автомат рожок. Рота ждала сигнала атаки. Затаились, слушая тишину, командиры взводов, отделений, рядовые солдаты. Когда солнце стало слепить глаза засевшего на высоте «противника», последовала передаваемая шепотом команда:

— Вперед.

Приникнув к земле, по ложинкам, едва заметным понижениям местности ползла рота к замаскированным укреплениям. Только шорох раздвигаемой травы да тяжелое сдавленное дыхание нарушали тишину. После первых же преодоленных ползком метров все стали мокрыми от росы. Но никто не заметил этого. «Возможно ближе подобраться незамеченным к „противнику“ и полоснуть неожиданными очередями по фанерным фигуркам мишеней, забросать пулеметные гнезда гранатами» — только эти мысли, приковав к себе внимание, беспокоили нас.

Левифланговый взвод решил воспользоваться туманом, стелившимся над безымянной речушкой. Пригнувшись, воины бежали вперед, за командиром. Их заметил проверяющий. В воздух взвилась красная ракета.

— Вперед! — теперь уже громко прозвучала команда. Слово из-под земли перед «противником» выростали цепи атакующих. Треск автоматных очередей заглушил трель жаворонка. Берпадский вскрикнул, неосторожно прикоснувшись к нагретому стволу автомата. Разрывы гранат на мгновение закрыли небо. Бутафорские укрепления превращались в щепки. Падали на землю алые головки тюльпанов. Очередь неумелого стрелка скосила целую охапку цветов.

— Тальский! Крепче держи автомат. Ложись!

Упал на землю.

— Одиночными огонь!

И снова пружинила под ногами земля.

Второй рубеж — дзот. Подобрался к нему с тыла. Приподнялся — солнце било прямо в глаза — и бросил гранату.

Едва рассеялся дым, в небо взвились одна за другой две зеленые ракеты: рогное учение с боевой стрельбой закончилось. Проверяющий ушел к первому рубежу укреплений. Ему нужно было определить размеры урона, нанесенного нами «противнику». Нам разрешили отдохнуть. Я поднялся на высотку, лег на землю.

Поле, с которого мы начинали атаку, разрежало черные зигзаги окопов. Свежий утренний ветер принес ароматы фиалок, мяты, еще каких-то цветов, смешал их с запахом сгоревшего пороха. Закрыв глаза, я представил другое поле, пшеничное: большое, кажущееся из кабины комбайна морем.

Уборочная страда. В высоком небе застыло солнце. Пыльно, жарко. К комбайну подъезжает машина. «Хлеб — Родине» — написано мелом по зеленому борту. Искрится на солнце зерно. Усталый шофер наблюдает, как наполняется кузов, улыбается.

Прокаленный солнцем, продубленный ветрами комбайнер смотрит, как наполняется кузов, улыбается. И штурвальный — парнишка-старшекласник — тоже белозубо улыбается счастливой улыбкой хлебороба.

Глядя на него, улынулся и я, но, вспомнив, где нахожусь, крепче сжал приклад автомата.

Совсем недавно заметил: что-то необыкновенное творится вокруг. Все в мире осталось как будто по-прежнему: казарма, учебные классы, плац, построения, наряды. Но в привычном ритме армейской жизни стала звучать иногда незнакомая мелодия. Я однажды услышал, как травы шептались. Я однажды услышал, как распускаясь ночные фиалки. А сегодня услышал, как в луже плескались звезды. «В обыкновенной дождевой луже плещутся необыкновенно крупные синие звезды, — удивился я вслух, — раньше ничего подобного не было». Что происходит со мной? И услышал, как кто-то робкий, застенчивый сказал: «Это начинает жить в тебе тихая нежность Алика». «Тихая нежность Алика», — повторил я и, бросив в воду камешек, разрушил отражение звездного неба.

Жажда

Где-то его ждут не дождутся. Дети рисуют его в каждом рисунке. А здесь оно первый враг всего живого. Вот и сегодня оно вызверилось с самого утра. Под брезентом палатки — как в печи. В голове гудит. Сухие губы хотят воды. Лицо, опаленное зноем, хочет воды. Каждая клетка организма просит, требует, умоляет: «Пить! Пить! Пить!»

Куском ржавой жести нависло над долиной небо. Желтые края горизонта оплавидись. Сетью глубоких трещин покрыта желтая земля.

— Слева от точки машина.

А у нас в бурную весну дома стоят в воде. В магазин доберутся на лодке. На танцы — на лодке. Утром выйдешь из дому, опустишь руки в разлившуюся Припять: струится между пальцами холодная светлая вода; камышом пахнет, осенними листьями, снегом. Пьешь — не напьешься.

— Слева от точки машина!

— Слева от точки машина? Она уже на гребне!

— Передать: «Прекратить учения»?

— Заткнись! Бершадский — по левому склону. Я по гребню.

Горюшин остается у станции. Ясно?

— Так точно.

— Вперед!

Эта пустыня — ад на земле.

— Стой!

Не видят. Не слышат.

— Стой!

Катаются в горле горячие угли. Стучит в висках кровь. Я догону машину. Должен догнать. Горячий ветер не испепелит мое сердце. Раскаленная земля не обуглит ступни. Желтое небо не закроет мутной пеленой мои глаза. На последнем дыхании вперед, вперед, вперед!



— Стой!

Заметили. Остановились.

Плывут перед глазами желтое небо, желтая земля, желтое лицо водителя.

— На метеостанцию едем. Прибор везем, продукт везем. Пусты, солдат.

— Нельзя.

Обратный путь. Бесконечная цепочка следов. Это я бежал. Ослепительно сверкает песок. На нем маленькая серая палатка. Ровно работает движок. Качнулась телескопическая антенна. Землетрясение, что ли? Ноги утопают в песке. Он течет по склону бархана, как вода. Как вода? Свою воду я выпил еще утром. Бершадский тоже. У Алика есть еще полфляжки. Я умру от жажды, если не выпью его воду. Он мой друг. Он поймет: я бежал, мне очень хочется пить. Во-ды. Во-ды.

Как изменился Бершадский. Лицо обветрилось, покраснело. Под глазами — черные тени. Непривычно выпирают широкие скулы. Идет, качается. Ног не может оторвать от земли. Взобрался на гребень. Отдохнули. Пошли дальше. Во-ды. Во-ды. Во-ды.

Из палатки выполз Алик. Поднялся. Стройный, высокий, как телескопическая антенна. Меряет землю метровыми шагами. Спит. Закрыл собою все небо. В руках фляжка:

— Вот вода, Эдик. Два глотка... Остальное тебе, Витя. Два глотка.

— А тебе?

— А тебе?

— Я худой. Меня жажда не мучит.

Мы выпили не всю воду. Он взял фляжку, чуть-чуть отхлебнул из нее, плотно завинтил крышку.

— Спасибо.

Он сказал спасибо. Ему тоже очень хотелось пить. Он сказал: «Вот вода, Эдик. Два глотка». «Остальное тебе, Витя. Два глотка».

Новенький

Утром старшина позвал меня в каптерку.

— Принимай пополнение, товарищ сержант. Солдат неплохой. Только маленький и обидчивый. С ним нужно поласковой, но без поблажек. Служба есть служба, сам понимаешь, не первый год служишь.

— Второй, — не удержался я.

— Ну, в общем, опыт у тебя есть. После развода заведи его из учебной роты, сведи в мастерскую, нужно заказать портным парадный костюм. Да предупреди, чтоб не распускали языки. Женщины есть женщины, сам понимаешь. Соображения у них мало, высмеют парнишку, весь настрой к службе ему испортят. Ты понял меня? Солдат не совсем обычный.

— Так точно, — козырнул я, — солдат очень маленький. — Старшина нахмурил брови. — Разрешите идти?

— Идите.

Командира учебной роты нашел в канцелярии:

— Товарищ капитан, сержант Тальский прибыл за пополнением.

— За Ефремовым, что ли?

— Так точно.

— В казарме он. Один из всей роты и остался.

Пошел в казарму. У тумбочки дневального стоял тоненький, плотно пережатый укороченным ремнем паренек. Солдатская форма, считая, по-видимому, в полковой мастерской, ладно сидела на нем. Увидев меня, солдат подтянулся.

— Рядовой Ефремов?

— Я.

— Следуйте за мной.

— Ничего нет. Дневальный подчиняется дежурному по роте.

Капитан пришел из канцелярии:

— Для прохождения дальнейшей службы вы направляетесь в роту связи, в отделение сержанта Тальского. Выполняйте его приказание.

Мы пошли в мастерскую.

«Неужели из этого мальчишки получится радист? Ему бы в „Зарницу“ играть, снежками бросаться, а он — „никак нет“. В солдата играет. Нужно бы с ним построже обходиться, чтоб службу всерьез принимал, да как с ним, с таким, построже? Пожалуй, в нем и полтора метров нет».

Ефремов неумело козырнул снимавшей мерку сержанту Оле.

— Есть прийти на примерку через два дня.

Отчеканил три строевых шага. «Ну как?» — прочел я в его хитроватых коричневых глазенках немой вопрос.

На следующий день наше отделение заступило на дежурство по роте.

— Солдат ты молодой, опыт у тебя маленький. Становись возле тумбочки, учись быть дневальным, а я пойду нигрол заливать в раздатка, — напутствовал Ефремова Гогешавили, когда мы пришли с развода в казарму. Я перебил его:

— Объявляю порядок несения службы дневальным. До восемнадцати ноль-ноль... А теперь проверим знание устава внутренней службы. Рядовой Ефремов, кому подчиняется дневальный по роте?

Вечером Гогешавили подошел ко мне:

— Нехорошо получается, товарищ сержант. Год вместе служили. На учениях два раза вместе были, шестьдесят один раз дежурили по роте. Ты знаешь, я все записываю. Пусть теперь молодой постоит. Пора отдыхать нам.

Гогешавили развел руки в стороны:

— Правильно я говорю?

Он ждал ответа. Ефремов исподлобья поглядывал в нашу сторону. Я начал издали:

— Хороший ты парень, Гогешавили. Лучший мой друг... после Алика Горюшина. И солдат неплохой. И службу знаешь. Год назад, помнишь, когда я только пришел в роту и заступил на первое дежурство...

Гогешавили вскипел:

— Нехороший человек. Зачем вспоминаешь?

— А ты сейчас для Ефремова хороший?

— А-а, ладно! — Гогешавили махнул рукой. — С тобой не договоришься.

Дежурство прошло нормально. Вечером Гогебашвили показал тоненькую потрепанную книжку. Последнюю запись в ней он сделал накануне: «28 июня. 62-е дежурство. Дружба дружбой, а служба службой».

Через две зимы

Вечер. В сумраке тонут сложенные из серого туфа строгие двухэтажные здания — солдатские казармы. Над казармами застыли облака. Узкими полосками в просветы между тополями вклинивается небо. Из городского парка доносятся приглушенные расстоянием обрывки мелодий. Эстрадный оркестр играет танцевальную музыку. В полном составе рота собралась в скверике у памятника Ленину. Курящие курят, думая свои, только им понятные думы, некурящие, собравшись в маленькие группки, разговаривают. «Старички» охотно рассказывают о службе. Новобранцы охотно слушают: сомневаются, удивляются, вздыхают.

Ефремов устроился на скамейке, в сторонке от всех. Сгорбил плечи, оттопырил нижнюю губу, подпер кулаком подбородок, молчит. Может, думает о чем-то, а может, просто устал, набегался за день, присел на первую попавшуюся скамейку, да и забылся.

Нет, не забылся. Достает из кармана гимнастерки фото. Крошечное, целиком на ладони поместилось. Кто на том фото? Школьный друг, мать, братья и сестры?

Закрыв ладонь. Спрятал в ней что-то темные волосы, узенькие щелочки чуть раскосых глаз, нос-кнопку. строго сомкнутый рот.

— Сестренка?

Смотрит на меня внимательно и серьезно.

— Товарищ сержант, я ведь вам подчиняюсь беспрекословно целый день. Прикажете бежать — бегу, лежать — лежу, петь — пою. Даже если не поется, не ложится, не бежится, я все равно выполняю приказание. Но зачем вам знать, кто на этом фото?

— Целый день я с тобою на «вы». Так положено по уставу. Целый день я тебе командир, а вечером... Сейчас я тебе не «товарищ сержант», а просто Тальский, Витя Тальский.

Опустил глаза, молчит. Жду ответа. Полюхнув на прощанье алыми бликами в окнах казармы, день ушел в прошлое. На востоке в фиолетовой дали зажглась первая звезда.

— Девчонка, Дашенька. Меня служить не брали. Ростом не вышел. Одноклассников брали, а меня нет. Она смеялась: «На что ты мне нужен, плюгавый такой». Я плюгавый, товарищ сержант?

Робкая надежда теплится в глазах.

— Нет, ну что ты. Ты ж вчера подтянулся два раза. Ты, Ефремов, молодец.

— А она полюбит меня?

Маленькой крепкой ладонью, сжав большую мою ладонь, он застыл в ожидании ответа.

— Да, полюбит. Конечно, полюбит.

— Неужели случится чудо?

— Да, случится. Конечно, случится.

— Через две зимы, да?



Анатолий Белов

С «Авророй» я не только знаком давно, с самого первого ее номера — как читатель, но и в последнее время находился в родственных отношениях — как автор, как участник поэтической мастерской, несколько лет работавшей при журнале.

Именно на страницах «Авроры» была напечатана самая первая большая подборка моих стихотворений, при поддержке «Авроры» вышла и моя первая поэтическая книжка.

Моя судьба полностью слилась с судьбой поколения родившихся перед самой войной. Полуголодное золотушное послевоенное детство. Бездомщина. Помощь взрослым дома и в поле. Ежедневная дорога в школу через ручьи и противотанковые рвы, в дождь и сквозь метель. Не было в нашей послевоенной деревне ни радио, ни электричества, редкие еще трактора вязли по самую кабину в суглинке. Трудно давался хлеб, выращиваемый руками наших матерей. И не было от нас, мальцов, ни у кого никаких секретов.

Окончив семилетку, редко кто из моих ровесников оставался в деревне. И мне пришлось уехать в Ленинград, где уже жила одна из моих старших сестер. Благо это или лихо — трудно сказать и теперь, когда позади четверть века городской жизни. И дерево трудно пересадить, не повредив ни одного корня, а тут была «пересажена» живая душа. Наверняка не обошлось без какой-то ее деформации. Но возможные потери уравновесились очезидными приобретениями. Городская жизнь постепенно втягивает человека, как бы растворяет его в себе и потом отформовывает заново.

Я окончил профтехшколу обувщиков, стал промышленным рабочим, и до сих пор мне не в тягость нелегкий труд на конвейере обувной фабрики.

Но самые лучшие силы души отдаются литературной работе. Потребность «высказаться вслух» замечал за собой еще в школьные годы. Но долго сдерживал себя и впервые осмелился заговорить стихами во время службы в армии. Сейчас закончил работу над новой книгой стихотворений, часть которых — перед вами.

Пробуждение

Мальчик, привыкший мечтать,
чтоб со звездой подружиться,
утром не ходит гулять,
вечером спать не ложится.

Мальчик, забывший покой,
дальше околицы не был,

но дотянуться рукой
вздумал до звездного неба.

Мальчик решил через тьму
к дальним созвездьям рвануться.
Только случилось ему
в полдень июльский проснуться

и среди чужого двора
видеть какую-то малость —
девочка вишни рвала
и беззаботно смеялась.

Мальчик, привыкший мечтать,
вместе с планетой кружиться,
утром выходит гулять,
вечером спать не ложится.

Долго ль теперь до беды,
если явился мальчонке
в свете далекой звезды
образ веселой девчонки.

*

Чуть помолчу и снова стану
родне доказывать своей,
что никогда не будет стаиной,
разумной птицей соловей,
чей черный день не обеспечен,
чей напророчен черный год,
без чьих простых попутных песен
любовь бездельем прослывет.

Раздумья

Не летней порой с налету
к забытой родне стучась, —
в любви к своему народу
откроюсь в заветный час.
Не мученикам интима,
собравшимся на свечу, —
просторам неукротимым
о верности прошепчу.
Спасая не для продажи
в небойком своем стихе
заученные пейзажи
с воронами на ольхе.

Для сердца тупой занозой,
раздумьями для ума —
безлюдные перевозы,
покинутые дома.
Но в море полей неровных
не каждый маяк потух.
Вот крышей сверкнул коровник.
Вот голос вознес петух.
Под грохот молочных баков
на взгорок, под облака,
бочком семенит собака
за тенью грузовика.
Удачами позабытой,
снабжаемой вразнобой,
достойной больших событий
коснуться своей судьбой,
идеей блажной, заемной,
вчиненной в былом в нужду, —
равниной нечерноземной
с надеждой живой иду.
Иду, тракторам в подмогу
напутствия пророня
и зная, что в жизни много
зависит не от меня.
Тепло наплывает с юга
под громкий вороний гам.
И нет для земли досуга,
и отдыха нет ногам.

Прощание с Селигером

Думал лечить давний недуг
дальней дорогой.
Только душа сблизилась вдруг
с новой тревогой.

Слева — весло, справа — весло.
Запахи. Звуки.
Нынче с утра встало-взошло
солнце разлуки.

Синяя даль. Желтая мель.
Взор, не туманься!

Грустный камыш нынче не мне ль
шепчет: «Останься!»

Вольная ширь, водная гладь
слева и справа.
Здесь бы всю жизнь чайкой летать,
рыбою плавать...

Воздушный извоз

Покупает нефтяник билет,
чтоб увидеть столичный балет.
И девчонка спешит в облака,
чтоб на детство взглянуть свысока.
Не стяжает ни лавров, ни роз
повседневный воздушный извоз.
И взлетают пилоты с полян
выполнять ежемесячный план.
Коль взлетел, что ни миг, то верста.
Наравне с красотой высота,
хоть кричит не один обелиск
о возможной расплате за риск.
Знает штурман, спешащий домой,
где кривая короче прямой.
И как лужу мужик на возу,
самолет объезжает грозу.
Вот опять мой летающий друг
завершил свой рискованный круг.
А его молодая жена
ожиданьем почти сожжена.
Он, смеясь, обнимает семью.
Он таранит подушку свою.
И сошлись над его головой —
ветровей, водолей, громобой.

Прогулка с сыном по Ленинграду

Забудутся мамины вздохи
на три, на четыре часа,
и снова другие эпохи
свои подадут голоса.

Слетятся, сойдутся, сольются
у той и у этой стены
волнения всех революций,
тревоги минувшей войны.

Наследнику-единоверцу
вверяю года и века.
Полшага от сердца до сердца,
и руку сжимает рука.

И снова наш путь завершится
счастливым сегодняшним днем.
И будут снежинки кружиться
и таять над Вечным огнем.

Весенний реквием

Сроднившись с настроеньем весенним,
ненастные, со снегом и дождем,
пропустим дни и ясным воскресеньем
на каменное кладбище придем.

Поодаль, в просыхающем овраге,
цветет подснежник и ручей журчит.
А здесь горят приспущенные флаги
и приглушенно музыка звучит.

Заступим за железную ограду,
задумчиво замедливая шаг,
не хвастая, что все идет как надо,
не жалуясь, что все идет не так.

Над холмиком, травинками поросшим,
почувствуем, молчанье храня,
что завтрашнее будущее с прошлым
срослось рубцом сегодняшнего дня.

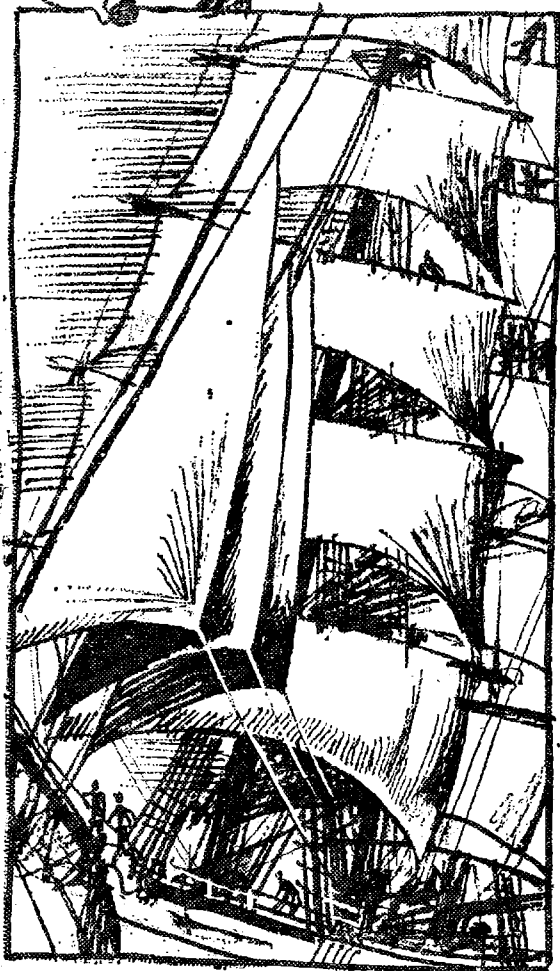
Раздвинутся преграды межевые,
забудутся возвратные пути.
Здесь мертвые не могут, а живые
не смеют слова вслух произнести.

Лунный парус Айна Вяйке



Надир Сафиев

ПОВЕСТЬ



Рисунки Бориса Аникина

Вяйке не помнил, с этого ли дня началась его дружба с Юханом или с другого. Но зато Айн твердо помнил день окончания седьмого класса. Об урагане тогда, кажется, забыли, лишь вспоминали изредка, увидев в лесу поломанное дерево. Они с Юханом собирались красить на маяке фонарную, маячник все откладывал, ждал его каникул.

В этот день он застал Юхана на открытом мостике. Юхан разглядывал море в бинокль... Слыша, как вошел Айн, он, не поворачиваясь, протянул бинокль и сказал:

— На, смотри.

Айн увидел недалеко от Острова, в тумане, кресты. Постепенно туман стал оседать, и ниже показались новые перекрестия. А потом взору открылся весь корабль — его черный, как птица, корпус с бушпритом. Четыре мачты с подобранными на реях парусами. Айн ахнул. Он вспомнил, что отец председателя исполкома Олсена — самый древний человек на Острове — рассказывал ему, как три века назад церковь строили из дерева выброшенных на берег парусных кораблей.

Солнце уже поднялось высоко, и море очистилось от тумана, а он все смотрел, смотрел и вдруг заметил, что от парусника отошла шлюпка и в ней люди.

— Это к нам, — сказал Юхан, — надо тебе встретить.

Айн вмиг пустился к пирсу, на бегу срезал путь, прижимаясь больше к берегу. Он издали увидел, что шлюпка входит в бухточку, так что, когда он подошел, люди уже выпрыгивали на пирс.

Это были ребята немногим старше Айна. Человек с бородой, которого Айн принял за капитана, попросил проводить их в деревню. По дороге Айн узнал от ребят, что они — с учебного барка «Крузенштерн»... Двое старших пошли в исполком знакомиться с председателем Олсеном, а ребят Айн повел к Мэри, попросил открыть магазин. Около двадцати курсантов набилось в маленькую лавку, никогда у Мэри не было такой бойкой торговли и к тому же с переводчиком. Им стал Айн. Прижатый к стойке, он настолько увлекся, что курсантов-эстонцев спрашивал по-русски. В основном ребята брали сигареты «Прима» и фруктовые конфеты. Потом подошли и старшие. Попросили шампанского — его у Мэри всегда было вдоволь, и зимой и летом. Мужчины откупоривали бутылки, а Мэри, расставляя бокалы, стала вновь рассказывать, что, когда была красивой и молодой, ждала встречи только с капитаном — ниже рангом не хотела. И потому сейчас одинока. Штурманы смеялись, благодарили за прием, но так и не сказали, что капитан остался на борту корабля. Не хотели ее разочаровывать.

Моряки заторопились обратно на судно. К усадьбам из лесу полз туман. Предстоял трехмильный путь на шлюпке, а туман мог отрезать их от парусника надолго...

На следующее утро, поднявшись на маяк, Айн не нашел парусника. Солнце сверкало всюду, море просматривалось далеко, рябило на долгие мили, а корабля не было видно. Снизу, с берега, доносились крики чаек. На мостик вошел Юхан.

— Видимо, ночью снялись, — стоя за спиной Айна, сказал маячник. — Получили погоду и пошли искать ветер на север Балтики. — Юхан прошелся вокруг колонны и снова остановился рядом. Он вытащил из-под ремня потрепанную книжку без обложки и протянул Айну:

— Это тебе, нашел в старье.

Они сели, как ровесники, на железный пол, опустили ноги на трап и стали перелистывать пожелтевшие страницы, на которых были изображены парусники от «Золотой лани» Френсиса Дрейка до стопушечного «Виктори» — флагманского корабля адми-

рала Нельсона, корабли Петра Первого, знаменитые «чайные» клипперы и самый главный из них — «Катти Сарк». Много позабытых славных и неизвестных парусников.

Они листали с Юханом страницы непонятного, чужого текста, возвращались назад, снова листали. Похоже было, маячник сам увлекся и забыл обо всем. Насмотревшись, Айн вновь открыл одну страницу, показал на маленький треугольный парус, возвышающийся на мачте.

— Как бы нам узнать его название?

Юхан, всмотревшись, к удивлению Айна уверенно произнес:

— Если по-нашему, то куупури, а по-русски — лунный парус. Но лучше спросить об этом учителя Сеппа. Кажется, он умеет читать и по-шведски...

Учитель Сепп отнесся к приходу Айна сдержанно:

— Садись,— сказал он и положил перед ним стопку писем,— разберемся, а затем займемся твоей книгой.

Закончив почтовые дела, учитель Сепп принялся за книгу. Читал и переводил он допоздна и в конце концов увлекся сам: делал какие-то выписки, закладывал страницы. Айну больше всего пришлись по душе страницы про «Катти Сарк» и его капитана Вуджета: он сильно взволновался, когда узнал, что на этом клиппере ходили тринадцати-четырнадцатилетние мальчишки и капитан Вуджет с ними бил мировые рекорды... А когда они получали дипломы штурманов, то лучшей рекомендацией было плавание на «Катти Сарк». «Когда это было?» «Тогда, когда командовал капитан Вуджет»,— следовал ответ...

Поздно вечером, уходя от Сеппа, Айн осторожно спросил, нет ли ошибки в том, что им было по тринадцать-четырнадцать лет.

— В моем переводе,— строго ответил учитель,— не может быть ошибки!..

Однажды, это было уже осенью, ближе к вечеру, Айн, гуляя по берегу, наткнулся на бушлат со срезанными пуговицами. Встряхнул его, покрутил, рассмотрел — он был в хорошем состоянии — и принес Юхану.

— Возьмите. Бушлат море выкинуло.

— Ты нашел, он твой,— твердо сказал маячник.

— Берите,— настаивал Айн.

Через несколько дней после этого случая Айна Вяйке вызвали с урока, сказали, что звонил Юхан, просил срочно прийти на маяк. Когда запыхавшийся парень наконец очутился на мостике маяка, то увидел спокойного Юхана. Он смотрел в большой полевой бинокль. Потом повернулся, улыбнулся Айну и передал бинокль ему.

— Ищи на северо-западе в Ирбенском проливе, там, где материк обрывается в море... Это он или другой барк, их тут ходит только два...

— Вижу! — крикнул Айн.

— Хорошо, погода удачная. И как это я его вовремя не заметил,— сокрушался Юхан.

Айн, не отрываясь, смотрел. Это был вытянувшийся к небу силуэт корабля, идущего под всеми парусами. Силуэт постепенно бледнел и сливался с небом.

— Ты лучше скажи, когда собираешься в училище? — неожиданно спросил маячник.

Айн оторвался от бинокля...

Буфетчица Таня, размахивая белым халатом в руке, рассекала палубу, откидывая распадающиеся на ветру каштановые волосы, в такт шагам улыбалась на каждую реплику моряков.

«Она идет сюда,— подумал Вяйке,— наверное, ее послал Саня Жуков». Он отвернулся от палубы, и ветер сразу же выбил из его глаз слезы.

— Ты где пропадаешь? Обед твой остыл,— она уже поднималась по трапу.

Он подождал ее и встал:

— Да так...

— Как же с тобой такое могло случиться? — спросила Таня.

— Очень просто! — сказал Вяйке.— Когда человек работает высоко на мачте, он так крепко держится, что его никакой силой не оторвешь, а тут, внизу, вдруг притупилось чувство опасности...

— Хорошо, пошли,— сказала она,— капитан велел нам с тобой к празднику постричь ребят.

Вяйке недоверчиво скосил глаза.

— Честное слово, он.

— Иди. Я вслед за тобой...

Как-то сразу он почувствовал облегчение. Пока Таня шла по палубе, Айн, задрав голову к парусам, смотрел в пронзительно чистое небо. «Ничего... — сказал он про себя, — ничего, может, я стану старше, и все изменится...»

Поначалу принялись за головы тех, кто попался на глаза Герасиму Степановичу не на том повороте. Но и остальные ребята постепенно подходили. Одни — услышав в судовом динамике объявление вахтенного штурмана о стрижке, другие — просто так, из любопытства, посмотреть, как же это курсант будет стричь курсанта... Через руки «мастеров» проходили головы черные, светлые, рыжие — всех оттенков и цветов, так что к ужину палуба в предбаннике душевых напоминала осеннюю лужайку после листопада.

Подошла очередь и длинного Сийма, но он не захотел сесть к Тане и подождал, пока освободится место у Айна.

— Тебя надо стричь покороче, — говорил Айн своему другу, — тогда волосы будут смотреться более плотными, а главное, шея твоя покажется толще.

Волосы у Сийма были тонюсенькие, цвета давно высохшей на солнце травы. Сийм попытался следить в зеркале за руками Айна, но ничего не мог уловить. Айн работал торопливо, будто боялся расслабиться и потерять твердость руки.

— Я не успеваю за тобой, — жаловалась Таня, глядя на него.

— А ты не старайся, тогда получится быстро и хорошо.

Вот тут-то притихший Сийм подал голос:

— А что сказал бы дядя Юри, если бы меня стриг не ты, а он?

— Что твою голову надо не стричь, а брить, настолько волосы жиденькие...

Наконец коридор на нижней палубе опустел, больше никто не подходил. Буфетчица Таня и курсант Вяйке устало опустились на стулья. Из соседнего по-

мещения доносились звуки электрогитар и резкие голоса репетирующих курсантов. Здесь, внизу, сильнее ощущалось дрожание корпуса. Таня смотрела в упор на Айна. Ее смеющиеся глаза настораживали, хотя, казалось, после всего, что пережил сегодня Вяйке, удивить его ничто не могло. Но вот Таня встала, скинула белый халат, покрутилась в тельняшке перед зеркалом:

— Скажи, ты чего дуешься на Саню?

Он и сам себе задавал этот вопрос. Сегодня во время уборки, когда отказался работать с Жуковым, он скорее злился на себя: опростоволосился, не понял, к чему это матрос ломал комедию с воспитательницей. Потом он переживал уже за Таню, а потом за себя, что тоже стал причастным к обману...

— С чего ты это взяла?

Таня снова села и, не спуская с Айна глаз, вхолостую щелкала ножницами, разрезая воздух.

— Я тоже на него не сержусь. Он приревновал меня к штурману: привел, ну, эту... Решил отомстить. Я сразу поняла. Но мне перед остальными было неудобно. Кто тебе больше нравится, — неожиданно спросила Таня, — я или она?

— В этом я ничего не понимаю, — сердито ответил Вяйке и собрался уйти. Но его ожидал настоящий удар.

— Ладно, не обижайся, теперь стриги меня.

— Я не смогу! — почти крикнул Айн.

Она и слушать не хотела.

— Я доверяю, у тебя руки крепкие.

Вяйке нехотя взял расческу.

После курсантов приятно было расчесывать ее волосы, от них веяло домашним теплом.

— Ну, чего замолчала? Говори, — Айн придал голосу как можно больше твердости.

— Хочешь, я расскажу тебе, как мы познакомились с Саней?

— Подожди, не мотай головой.

Он нервничал, не решался пускать ножницы в ход, все расчесывал пряди и расчесывал, но когда начал наконец стричь, ее шелковистые волосы от касания ножиц рассыпались, ускользали.



— Перед стрижкой никто не моет голову,— сказал Вайке и почувствовал, что его лоб покрылся испариной.

Она его уже не слушала.

— Я заметила Саню, как только он пришел на Барк...

Бедный Айн в отчаянии стал собирать ее густые волосы с затылка, с боков, счесывать на лицо, чтобы хоть как-то ухватить их ножницами. Вайке чувствовал себя беспомощно, казался себе маленьким и задвленным. Айн не видел ее лица — его застилали плотные пряди каштановых волос,— и, может, оттого чудилось, будто ее голос доносится откуда-то из глубины колодца. Из темноты...

— ...Пришел он на судно в прошлом году, осенью, как раз мы уходили в Исландию. Я запомнила этот день. Даже много лет спустя могла бы точно указать место, где и как он стоял перед вахтенным помощником... А как он работал?.. Красиво, как настоящий мужчина, легко, молча. Никогда не срывался. Однажды вечером я стояла на корме, знаешь, там, где место для курения. Чувствую, подходит он ко мне — ты, наверное, заметил, он ходит по палубе бесшумно, но твердо... Так вот, подошел, постоял немного и накинул на меня свою куртку — как раз накрапывал дождь. И вдруг обнял меня за плечи. Я замерла...

— Таня, не мотай головой,— просил Айн. Окончательно смутившись, он перешел на родной язык: — Курат! Мис ма теен!

— Ты что там шепчешь? Сбил меня с толку... Я уже говорила, что он меня обнял?

— Я сказал по-эстонски: черт побери, что же я делаю.

— Ладно. Значит, он меня обнял,— твердила она свое.— А я стою и соображаю, а потом, дура, высвободилась и говорю: «Нет. Вот вернемся с рейса, сначала пойдем с тобой в кино». Больше он ко мне не подходил. Думала, отпугнула... Понимаешь, другому могла поморочить голову и тут же забыть. А с ним так не смогла бы, ой, думаю, буду страдать. Не знала я его. Ты не смотри, что он такой здоровый, сильный, слышь, Айн, А сердечко-то у него — как папиросная бумага...

Ведь как оно. Пока идет рейс, ребята так и липнут. Даже могут подраться из-за тебя. Но придут в порт — поминай как звали. Значит, через месяц мы вернулись из Исландии. Пришли, стоим. Вышла на палубу. Думаю, и он с ребятами ушел на берег. Ошиблась. Остался он за кого-то на вахте. Я хожу вокруг да около и не знаю, как подойти. И тут он схватил меня за руки и говорит, что завтра с утра пойдем в город, позавтракаем в кафе... Мне до него никто никогда не назначал свидания утром... Ты хоть понимаешь, Айн, о чем я говорю!

Айн в нерешительности вертел в руке ножницы, но в это время услышал голос вахтенного помощника в судовом динамике: «Внимание. Светиловой Татьяне подняться в камбуз. Повторяю: Светиловой Татьяне...»

— Ой! — вскочила Таня. — Ну тебя... забыла про ужин...

Она на ходу стряхнула волосы, чмокнула в щеку испуганно глазающего на нее парня и выбежала.

После ужина со всех палуб люди спускались вниз, в столовую курсантского состава, объявили фильм «На войне, как на войне». Айн устроился у самого экрана. Методист стоял тут же у входа и шарил глазами по залу, будто кого искал.

— Не такой уж плохой мужик этот методист, — сказал кто-то за спиной Айна.

— Без повязки дежурного он выглядит менее воинственно, — поддержал соседа другой...

Ожидая начала фильма, Вяйке испытывал чувство безбилетного человека, сидящего на чужом месте. Ему почему-то представилось, что киномеханик давно уже запутался в лентах и роликах... «Если чего-нибудь очень хочется, жди препятствий», — не успел подумать Вяйке, как в судовом динамике зазвучал голос вахтенного штурмана, извещающий о том, что курсанты, имеющие наряды вне очереди за невыход на завтрак и за пособничество нарушителям, должны сейчас же явиться к старшему боцману...

Шесть человек медленно и вяло поднялись и стали пробираться к выходу, где только что стоял мето-

дист. Вяйке подумал: «Ждет на палубе», — но на открытом воздухе его не оказалось. Ребята разглядели в темноте сухощавую фигуру боцмана. Двигаясь навстречу курсантам, он напоминал самбиста, приближающегося по ковру навстречу противнику.

— Пошли, — бросил он на ходу, но, заметив Вяйке, вдруг остановился:

— Ты свое отработал. Иди отдыхай. — Он снял беретку, провел по голове рукой и сказал: — Жду тебя завтра с ножницами...

Оставшись один, Айн растерянно озирался по сторонам.

Кроме рулевых и матроса Жукова, на палубе не было ни души. Над головой с шипением завывали снасти и паруса. Иногда на мостике появлялась голова штурмана. Свет иллюминаторов надстройки косыми лучами падал на палубу. Айн ступал на лучи и в них видел чисто вымытое дерево палубного настила... На корме, у большого алюминиевого бака, где обычно в это время собирались курильщики, тоже никого не оказалось, и потому он тем же путем вернулся обратно, спустился на шкафут. Под палубком сначала он увидел огни сигарет, потом услышал голос.

— Подойди, Малыш, погляди, как твой друг обьелся блинов.

В темноте тянуло сыростью, пахло ржавым металлом. Ребята с парусной вахты, затянутые поверх ватников страховочными ремнями, сразу же расступились, и он увидел Сийма. Казалось, худой Сийм согнулся вдвое под тяжестью цепи карабина.

— Ты не мог бы сменить меня? — услышал Вяйке безжизненный голос друга.

Длинный Сийм держался за живот, словно после удара под дых никак не мог отдышаться.

— Ты, я вижу, и вправду переел блинов...

Сийм жалко кивнул.

— Подожди, — сказал Айн, — мне надо подумать.

Он снова побрел по палубе. Оглядывая блоки и снасти, он решил, что с завтрашнего дня, как только он дотронется рукой до какого-нибудь предмета на палубе, тут же вспомнит название. Иначе не зазубришь... Он и сейчас принялся нашептывать названия

попадающихся на глаза деталей, но скоро остановился лишь на парусах: «Грот, нижний марсель, верхний марсель, нижний брамсель, верхний...» Он дошел до самых верхних парусов и в удивлении умолк: по небу плыли тучи. Оглянулся за борт — и там низкие тучи. Они каким-то образом смыкались, и оттого было такое впечатление, будто Барк находится в замкнутом круге и только высоко над мачтами, сквозь рваные тучи проглядывало темно-синее небо, а в нем яркие звезды.

Айн услышал шелест чьих-то тихих шагов, повернулся и увидел Таню в длинном до пят платье с белыми кружевными манжетами и таким же воротничком. Плечи она стянула светлой шалью.

— Ты с чего это так нарядилась? — сказал Айн резко, скрывая свое восхищение.

— Вышла помечтать.

В темноте большие глаза Тани блестели. Айн хотел украдкой посмотреть прическу, как же она выглядит, но тут Таня взяла его за локоть и повела в том направлении, где он недавно видел Жукова. Айн нехотя волок ноги в непомерно больших рабочих ботинках. Он чувствовал себя с ней случайным довеском.

— Мне надо на вахту, — сказал Вяйке и остановился.

Впереди, на их пути, между надстройкой и шлюпками у борта стояли капитан со старпомом. После падения Айн избегал встречи с Герасимом Степановичем.

Ветер доносил до них обрывки фраз, чаще они слышали глухой низкий голос капитана, он, кажется, говорил о погоде. Слова старпома оставались где-то там, у шлюпок. То ли он говорил тихо, то ли у него такой нелетающий голос был.

— Мне пора, — сказал Вяйке решительно и пошел, как человек, которому стало стыдно от долгого ожидания в укрытии.

— Разрешите пройти, товарищ капитан!

Герасим Степанович повернулся, а Вяйке в каком-то странном ознобе старался выдержать его взгляд.

— Почему не смотрите фильм? — спросил старпом.

— У меня наряд вне очереди.

Это прозвучало у него, как поощрение самому себе.

— Значит, наряд вне очереди? — улыбнулся капитан. — Ну что же, проходите.

Айн сглотнул подступивший ком и, не в силах сдерживать себя, пустился бегом.

— Пронесло! — крикнул он и дернул на себя тяжелую стальную дверь кормовой надстройки,

Короткое совещание в каюте капитана превращалось в чаепитие. Герасим Степанович достал из шкафа представительский сервиз, помедлил, как будто что-то еще могло помешать этой неделей, по его мнению, затее. Тихо ворча на своего помощника по учебной части, он попытался успокоить себя лишь тем, что каждый раз, когда он заходит к нему в каюту, Олег Евгеньевич не отпускает его, пока не угостит свежезаваренным чаем. «Посмотреть на него, — думал капитан, — вроде ничего вокруг не замечает, ходит сонный, грузный, а сунешься в его дела — все в порядке, комар носа не подточит, самый сведущий человек на судне. Помнит, кто из штурманов пропустил занятия, какого курсанта больше положенного загрузили работой. Готов глотку перегрызть за ребят...»

Герасим Степанович стал накрывать на стол, и взгляд его на секунду задержался на своем первом помощнике Лукине. «Ну, его оптимизма хватило бы на всех. Судя по независимому виду, у него все готово к празднику. По сути дела, мы с ним и незнакомы. Пришел на судно перед отходом и сразу же окружил себя курсантами: рисующими, поющими, пишущими...»

— Это вам, — буркнул капитан в сторону Маламужа и положил на стол щипцы, — берите и колите себе сахар. Варенье — не знаю какое, откроете — увидите. — Он посмотрел искоса на старпома, перевел взгляд на методиста: «Кажется, на сегодня удалось его укротить». И высыпал в пустую сахарницу дражегорошек: — Илья Сергеевич, принесите, пожалуйста, чайник с заваркой и пустите по кругу...

Маламуж принялся колоть большой кусок синеватого сахара.

— А ведь в том, что когда-то пили чай вприглядку, было нечто особенное... Зато на вкус лучше сахара ничего на свете не было...

Казалось, что начало застольной беседы было положено. Но капитан не дал ей развиваться.

— Думаю, начнем с вас, Олег Евгеньевич. Скажите, есть ли претензии к учебному процессу?

Маламуж мокнул крохотный осколочек сахара в чай, бросил в рот и, сделав основательный глоток, отодвинул чашку.

— Претензий?.. В основном все идет по графику — и классные занятия, и практические... Вы-то уж знаете, курсантам на палубе некогда и передохнуть. Вот только шлюпочные учения...

— У вас все?

— Да, пожалуй.

— Отвечаю. Шлюпочные учения, думаю, будем проводить к концу, перед приходом в Ленинград. Встанем на кронштадтском рейде и походим.

— Известно, где будем стоять в Ленинграде? — спросил Лукин.

— Предполагается — у моста Лейтенанта Шмидта.

— Василий Николаевич, что у вас? — обратился капитан к старпому.

— Я попросил бы позволить распечатать комплекты роб, оставленные для заграничавания. На стоянке в Ленинграде я не смогу допустить курсантов к палубным работам в старых.

— Хорошо, — сказал капитан, — об этом подумаем ближе к приходу. Чем сейчас собираетесь заниматься?

— Быть на мостике.

— Так. Так... Что у вас, Анатолий Иванович?.. Илья Сергеевич, доливайте себе, не стесняйтесь, берите варенье.

Гревцев придвинул к себе банку. Сидящим за столом показалось, что методист сделал это нехотя, ему не хочется варенья, но он не может послушаться, да и капитан в подчеркнутом внимании к нему не скрывал своей опеки.

Методист, помня, что вопрос капитана повис в воздухе, а остальные выжидают, стал мучительно развязывать шпагатик на горле банки. Варенье оказалось рябиновым. Он выложил себе в розетку красно-

вато-оранжевые ягоды и пододвинул банку Лукину. Но тот, заметив на себе выжидательный взгляд капитана, перешел к делу:

— Герасим Степанович, — он обвел глазами остальных, — думаю, завтра, после официальной части — я имею в виду ваше поздравление с Днем Победы, — хорошо было бы выступить кому-нибудь из тех, кто прошел войну, рассказать, как воевал...

Какое-то время за столом все молчали. Лукин смотрел на спокойное лицо капитана, переводил взгляд на Маламужу, пытался уловить их реакцию. Он хотел было спросить, что же непонятого сказал, но капитан, отодвинув чашку, вытер ладонью стол перед собой, встал, открыл ящик и вернулся с судовой ролью. Он стал разглядывать огромное полотно листа со списком экипажа Барка.

— Самый старый у нас на судне Маламуж... — капитан перевел взгляд на своего помощника, — Олег Евгеньевич, тридцатого года рождения. Значит, когда началась война, ему не было и одиннадцати... Дальше идет Никитин. Василий Николаевич, — обратился он к старпому, — когда вы поступили в военно-морское училище?

— В сорок восьмом.

— В сорок восьмом я родился... — как-то тихо встал Лукин.

— Вижу, Анатолий Иванович. Двумя годами позже родился Илья Сергеевич, — продолжал капитан, все еще разглядывая судовую роль. Он проглядел список до конца и вернулся к началу: — А я поступил в мореходку в пятьдесят первом... Выходит, нет среди нас на судне тех, кто воевал... Да и в нашей жизни все меньше и меньше остается их.

— Вот так и состарились, — как бы продолжая мысль капитана, заметил Маламуж.

— А вы, Олег Евгеньевич, жалуетесь, что некогда передохнуть курсантам... Пейте чай... — капитан встал. Он положил судовую роль туда, откуда взял, и вернулся к Лукину. — Дай бог чтобы и вам не пришлось видеть войну. Что же касается завтрашнего дня, то мы могли бы разве что рассказать, как мечтали об окончании войны... Оставшись в доме без старших, кажетя, на одной доброте людей выжили,

— Так было трудно и столько злости, — тихо заговорил Василий Николаевич, — хотелось скорее вырости — и на фронт.

— Верно заметили, Герасим Степанович, чаще добротой и сочувствием были сыты, не говоря уже о том, что всегда надеялись на чужих людей, думали помогут... И помогали ведь... — Олег Евгеньевич прикрыл веки и, собираясь с мыслями, боясь, что кто-то в наступившей паузе может вклиниться в разговор, поднял, как школьник, руку:

— Как-то у меня спросили, как я помню войну. Я рассказал случай... Мы с матерью были эвакуированы в Саратов. Она работала на заводе. Вечерами я обычно сидел на подоконнике и ждал ее — жили мы на окраине. Топил железную печку и ждал, а лампу зажигал только тогда, когда приходила мать, — экономили керосин. В один из таких вечеров я принялся готовить лампу: подул на стекло, протер, потом подкрутил фитиль, пальцами в темноте снял нагар. Снова убавил фитиль, пошарив по сторонам, нашел бумагу, скрутил ее и от печки зажег лампу, а бумагу, охваченную пламенем, выбросил в ящик с углем. Пока грелось стекло, мать нашла ножницы, чтобы заготовить хлебные карточки, — обычно для надежности новые месячные карточки разрезали на три ленты, по десять дней на каждого члена семьи, и сшивали их вместе. Положив у лампы ножницы, мать стала искать карточки, которые она только что принесла в дом. Страшная догадка осенила нас, когда мы взглянули на догорающую бумагу...

В то время я дружил с ранеными. Госпиталь находился рядом со школой, и каждый раз, возвращаясь, я подходил к окнам, где всегда ждали раненые. Они просили сбегать на базар, обменять сахар или мыло на папиросы, книжку какую принести... Мой друг, небольшого роста седой солдат, забеспокоился, что я не появлялся несколько дней кряду, думал — заболел. Пришел, нашел двор, но не заглянул к нам в дом: соседи рассказали о нашем горе. Вернулся он вечером, принес хлеба, сахару. И потом поддерживали нас раненые из госпиталя, пока этот длинный месяц не кончился.

«В детстве была другая плотность ощущений, — думал капитан, глядя на грузного, обычно тяжело ступающего по палубе Маламужа, — но какое же потрясение вызвал у него этот случай, что он мог вспомнить его так подробно и в деталях».

Герасим Степанович представил себе Маламужа щупленьким тонкошеим мальчуганом с вечно обветренными руками, пахнущими керосином... Все, о чем говорил Маламуж, было и частью его детства. И хлебные карточки, разрезанные полосками, и железная печурка с трубой, отведенной в темноту замерзшего окошка; в те дни, когда она не топилась, этот железный ящик с зияющими темнотой отверстиями в дверце становился страшнее самого холода. И конечно же, долгое ожидание. Ожидание окончания войны, сводок, почтальона, просто стука в дверь.

...Он тоже дружил с ранеными — тогда с сестрой они жили в Свердловске, и госпиталь был рядом со школой. Люди в синих байковых халатах, увидев ребят, возвращающихся из школы, издали махали им костылями. Часто он приносил раненым чистые листы бумаги, вырванные из школьных тетрадей, которые отец, видимо, не успел вернуть своим ученикам перед уходом на фронт. Он даже об этом писал отцу — тот находился тогда, в конце сорок первого, под Москвой. А отец в своем последнем письме писал ему, что не сердится, только просил не забывать и себя — сшивать из отдельных листочков тетради. А в начале сорок второго в кинотеатрах Свердловска показывали большой документальный фильм «Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой». Первые дни билеты распределяли по заводам. Он бродил перед кинотеатром в толпе в надежде на лишний билет, подошел к нему парнишка и сказал: «Хочешь билет на твой кусок хлеба?» Тот, наверное, заметил, как он перекладывал остаток хлеба из пайка в карман. Он отдал свой кусок за билет. От фильма в памяти остались орудийные стволы, грохот, много разбитой техники, перерытая земля со снегом, замерзшие трупы фашистов и закопченные лица бойцов, в которых он искал своего отца. Потом часто он смотрел этот фильм и всякий раз, когда на экране появлялись свои, вглядывался в них.

Позже, уже взрослым человеком, он понял, что тогда многие из сидящих в зале искали своих...

Резкий неожиданный толчок застал сидящих за столом врасплох. Судно завалилось на левый борт. Где-то внутри корабля, на нижних палубах, раздался грохот, что-то не устояло и с треском покатилося. Капитан успел схватиться за стол и удержаться накатившиеся на него чашки, но когда крен так же неожиданно стал выравниваться, банка с вареньем опрокинулась и липкая жидкость растеклась по столу.

— Василий Николаевич, скорее на мостик! — сказал капитан, вскочил и, бросившись к своей штурмовке, осознал, что старпома уже нет в каюте.

Маламуж стоял у дверей, словно хотел своей маской вернуть палубе прежнее положение. Вдруг капитан застыл на месте, прислушался к доносящемуся снизу шуму и понял: заработали двигатели. Но тут в нарастающее их дребезжание врезался бой корабельного телефона.

«Говорит мостик...— взволнованный голос вахтенного штурмана слышен был даже присутствующим.— На нижнем брамселе первого грота лопнул шкотовый угол...»

На мостике старпом спокойно отдавал короткие команды рулевым. Лучи прожекторов, направленные с двух бортов в темное небо, выхватывали частую сетку дождя, освещали полоскавшийся на ветру правый конец паруса. Его трепало так сильно, что доносящиеся хлопки напоминали выстрелы.

Вахтенному штурману капитан не дал докладывать, он все сам видел и понимал: налетел шквал, изменил на какие-то минуты направление ветра и принес дождь. Судно рыскнуло влево от курса. Пришлось временно врубить машины, круто переложить руль и снова выйти на прежний курс. И тут-то постепенно заходящий ветер снова принес шквал, который и сорвал угол паруса... А может, с парусом случилось в самом начале, не сразу спохватились.

«Долго парус так не может трепать»,— думал капитан, рассматривая мрачное, в тучах небо.

Шквалистый ветер с дождем был около восьми баллов, порывами девять-десять, он грозил вообще оторвать парус от рея.

— Вахтенный боцман! — разнесся сквозь свист ветра сердитый широкий голос капитана. — Объясните парусной вахте задачу. Будем убирать нижний брамсель на гроте. И потом уже подберем шкотовый угол.

Сразу же у борта затолкались ребята — их было десять человек, — стали скидывать с нагелей снасти, чтобы сначала с палубы подобрать парус к рею, взять на гитовы и гордени. И только было заскрипели блоки, капитан в темноте заметил среди ребят маленького курсанта...

— Фу, черт, надо же было, чтобы Малыш оказался сегодня на вахте, — заворчал он и оглянулся. Кажется, никто не слышал, но в это же самое время к нему приблизился Маламуж и стал за спиной.

— Неужели вы собираетесь поднимать в такую шквалистую погоду этого парня?

Капитан не ответил. Он видел, как трудно подбирается парус к рею, буквально по сантиметру. Снасти в руках ребят пружинят и готовы сорваться обратно.

— Я думаю, — снова заговорил Маламуж, — после сегодняшнего падения...

Капитан не дал ему закончить мысль, круто повернулся:

— Вы хотите, чтобы он калекой остался? Именно после неудачи надо ему перебороть в себе страх. Другого такого случая может и не представиться до конца практики...

Он снова взял в руки микрофон:

— Товарищи практиканты, — звучал голос капитана по палубной трансляции, — при подъеме на мачту и работе на рее будьте осторожны, не торопитесь. Опустите на фуражках штормовые ремешки... Моториста в катер! Где матрос Жуков? — обратился капитан к старпому.

— Он на вахте с курсантами. На штурвале.

— Попросите его подняться на мостик, — и снова

повернулся к Маламужу: — В тепличных условиях они будут учиться в училище. А здесь...

Перед капитаном в темноте вырос матрос Жуков. В глаза Герасиму Степановичу сразу бросился его страховочный пояс. «Значит, догадался, зачем его вызвали», — подумал капитан, отвел его в сторону и тихо сказал:

— Пойдете наверх. У нока рея будут работать старший боцман и парусный мастер, затем вот тот курсант, — он обратил его внимание на крупного парня на палубе, — кажется, он острижен наголо, за ним вы и рядом с вами этот маленький курсант, Вайке... А дальше остальные.

— Понял, товарищ капитан, — улыбнулся Жуков. И опять разнесся голос над палубой:

— Товарищи курсанты, в перчатках и рукавицах не подниматься.

— Герасим Степанович, вы рискуете, — упрямо твердил Маламуж.

— Я рискую каждый день, каждый час с тех пор как пошел на парусный флот, — спокойно ответил капитан и тут же повысил голос: — Вахтенный помощник, не вижу моториста в катере!..

Ребята из парусной вахты, скинув с себя ватные бушлаты, в страховочных поясах поверх рубаш, со свисающими цепями карабинов возбужденно толпились у борта. Они чем-то напоминали пожарников, готовых по сигналу броситься вверх по многоэтажной стене к горящим окнам.

Вайке был доволен, что стоит вместе с Жуковым, который рядом с ним казался горой. По другую сторону жался к нему калужанин Коля. Он внешне, как и всегда, был невозмутим, но глаза выдавали в нем чувство радости и страха.

Ребята выполнили уже все приказания с мостика и ждали главной команды: «Пошел наверх!» Но когда команда прозвучала, они не сразу разобрались: то ли она была, то ли нет, а если голос с мостика не успел дойти до них, то ветер схватил его на лету и швырнул в море. Курсанты растерянно посмотрели на старших, двинулись с места, остановились и тут услышали Жукова:

— Ну что же, ребята, прогуляемся в небо и обратно?!

Первыми ступили на ванты боцман, парусный мастер и Жуков. За ними курсанты. Поднимались с наветренной стороны. Скорость подъема зависела от шага первых, так что шли спокойно, и чем выше, тем ощутимее ветер придавливал их тела к вантам. Только прошли марсовую площадку, как молния выхватила из темноты паруса, беспокойное море — с высоты казалось, что какая-то гигантская сила выталкивает волны, а вместе с ними и Барк. Яркий, режущий свет, треск, и через секунду снова ночь и блуждающие по мачте, на пути людей лучи прожекторов...

Вяйке ступал на ванты и каждый раз, хватаясь руками, чтобы сделать следующий шаг, видел перед собой мелькающие ноги Жукова. Он никогда не чувствовал к нему такой близости, до сих пор было лишь восхищение и не больше. То же самое он испытывал к калужанину Коле, тот шел за ним, и Айн чувствовал его постоянное присутствие, чувствовал, что дальше за ними идут другие ребята и только один из курсантов, остриженный, которого он все еще принимал за Михайлова, где-то впереди. Прижимаясь к вантам, Вяйке вдруг понял: чувство, что ты не один, пришло к нему только теперь, не там, в столовой, когда они, сидя за одним столом, касались локтями друг друга, а здесь. Сейчас...

Прожектора с мостика прощупывали и прокладывали им дорогу, да так, чтобы не дай бог нечаянно не ослепить кого. После салинговой площадки сделали еще несколько шагов, стали наконец расходиться по рею.

— Слышишь, — кричал Жуков, — кажется, капитан увел Барк под ветер. Дует только в спину.

Медленно, трудно поддавался парус. Только ребята прихватили его, притянули к себе, как ветер вырвал из рук, и они, прижавшись к стальному рею, тянулись к нему снова. Ветер трепал сорвавшийся угол мокрого и отяжелевшего паруса с такой остервенелой силой, что схватить и удержать его было возможно лишь секунды... Сверху, с неба, на людей давила плотная стена ливня, взвинченная на высоте сильным, почти ураганным ветром. Снова сухой треск и резкая слепящая вспышка. Корабль под ними содрогался, виб-

рировал, иногда вдруг затихал. И снова бился в ознобе... Жуков уже подобрал часть паруса и прижал его своим мощным торсом к рею. Айн старался, притягивал вместе с матросом следующую складку, а она, жесткая, трудно гнущаяся, сползала вниз. Но Жуков опять тянул, держал побелевшими пальцами и кричал ему и ребятам: «Еще, еще! Ну! Складками. Набирайте, сразу притяните и держите животом...» Но у ребят силенок не хватало, и Саня это видел. Они застывали с вытянутыми руками, но парусину не выпускали, тянулись из-за рея, да так, что ноги только носками касались троса, опоры. С самого края дело пошло лучше, парус поддавался людям, только надо было успеть остальным придержать, завалить подобранную уже часть паруса на рей... «И... раз, и... раз...» — кричали боцман и парусный мастер. «Тащи, тащи. Держите... Хорошо пошло...» — подбадривал Жуков. «Крепи сезнями», — слышалось опять с конца рея... Иногда кто-то из ребят украдкой подносил руку ко рту и дышал, грел ее, а холодный, со свистом и дождем ветер рвал, метал, раздувал рубахи, оголял ноги. Для тех, кто находился на рее с правого борта, корпус корабля от крена ушел вбок, а сами они зависли высоко над черно-белым кипящим морем.

Матрос Жуков искоса наблюдал за Малышом, за его красными руками и видел, с каким трудом скрюченные, онемевшие пальцы завязывали узлом сезневки, и тогда подумал: «Если бы мать хоть на секунду представила его здесь...»

— Не устал? — прохрипел Саня.

— Я не понимаю...

И в новой резкой вспышке молнии Жуков увидел его лицо, по которому струилась вода; он, действительно, сейчас ничего не чувствовал: ни страха, ни холода, ни боли, ни тела своего...

...Всего двадцать минут понадобилось парусной вахте, чтобы убрать сорвавшийся парус. И еще несколько минут — на спуск вниз.

Капитан и старпом стояли рядом с рулевыми и наблюдали за курсантами. Мокрые до нитки, они поочередно подходили к мачте, скидывали с себя страховочные пояса и уходили переодеваться в сухое.

Спрыгнул, наконец, и Айн Вяйке, а следом за ним Жуков. Они тоже скинули пояса. Вдруг Айн поднес руки ко рту, а затем быстро убрал их за спину. Герасим Степанович догадался, что не только у одного этого курсанта выступила под ногтями кровь. Он хотел было подойти, сказать какие-то слова, но сделал шаг и остановился. В эту минуту из темноты к ним вышла буфетчица Таня. В шлепанцах на босу ногу, в ватнике поверх халата, она подошла к матросу и Вяйке.

— Ну, помирились там, наверху,— сказала она,— пошли, напою вас горячим чаем.

Капитан постоял, посмотрел им вслед, а потом повернулся к старпому:

— Василий Николаевич, пойдемте и мы попьем чаю. Обещаю вам свежую заварку.

...Через сутки с лишним, оставив за кормой Ирбенский пролив, Барк с подобранными к реям парусами шел под двигателями в Рижском заливе. Погода стояла тихая, солнечная, так что ветер едва мог задуть пламя зажженной спички. С правого борта в молочной дымке виднелась земля. Всюду на палубе шли покрасочные работы. Капитан с помощниками делал обход: что-то замечал, записывал, обсуждал... И вдруг наткнулся на Вяйке, красившего переборку в полной парадной форме.

— Это что еще такое? — остановился капитан. — Василий Николаевич!

Перед ними навтытяжку уже стояли два курсанта — Вяйке и длинный Сийм.

— Почему вы работаете в парадной одежде? — спросил Герасим Степанович у Вяйке.

Айн, уставившись на носок своего отдраенного ботинка, молчал.

— Я у вас спрашиваю...

Малыш поднял глаза и снова виновато опустил.

— Товарищ капитан, можно мне сказать? — Сийм повернулся, показал на полоску земли вдалеке. — Это его Остров... А здесь много знакомых рыбаков ходит. Айн подумал, вдруг его увидят...

— А ты с какого острова будешь? — неожиданно для Сийма спросил капитан.

— Я не с острова, я с теревни.

— С теревни, говоришь? — задумчиво произнес Герасим Степанович, даже не заметив, что сделал упор на букву «т».

Капитан еще раз внимательно посмотрел на Вяйке и, ничего не сказав ребятам, не решив, можно ли им продолжать работу, отошел к борту, стал разглядывать на горизонте знакомый остров.

Он посещал этот остров. Тогда он был старшим помощником на барке «Крузенштерн». Ходил туда с ребятами на шлюпке, но туман вскоре заставил вернуться обратно на корабль. На пирсе их провожал паренек, кинул им швартовый конец, а сам крикнул, что побежит сейчас на маяк. Никто на это поначалу не обратил внимания. На острове им посоветовали — чтобы избежать зону подводных валунов, выходить обратно из бухточки прямым курсом и идти до тех пор, пока не покажется над кронами сосен верхушка маяка, только тогда можно повернуть к своему кораблю. Но туман быстро стелился, видимость исчезала, о том, чтобы показалась верхушка маяка, не было и речи. Они долго шли в тумане — «Крузенштерн» стоял в трех милях от острова. Вдруг на шлюпке услышали доносящийся со стороны берега тревожный голос маячного ревуна, предупреждающего моряков об опасности, а затем увидели и светлое пятно, похожее на полную луну в мгlistую погоду. Тут-то все ребята вспомнили паренька...

«Да, — думал капитан, — если бы не маяк, вряд ли я запомнил бы это. Но странно, парень почти не изменился: все тот же рост, та же подвижность глаз, лица...»

— Василий Николаевич, а что, если мы устроим шлюпочные учения здесь?

— Что же, заодно завершим покраску судна. — Старпом знал, раз капитан заговорил об этом вслух, значит уже решил. — Потом погоды может и не быть...

Капитан повернулся к ребятам, которые стояли в ожидании — навитьяжку, руки по швам:

— Идите, готовьтесь, — сказал Герасим Степанович, улыбаясь Вяйке, — сейчас подойдем к острову, выберем стоянку, спустим шлюпку и отправимся к вам в гости... И к маячнику тоже. — Чувствуя, как парень заволновался и не может пока переварить сказанное,

капитан обратился и к Сийму: — Вы тоже одевайтесь. И чтобы все блестело!..

Ребята потоптались в каком-то странном оцепенении и вдруг рванулись, да так, будто могли их вернуть назад и сказать, что это шутка.

— Василий Николаевич, — проговорил капитан, продолжая обход, — вам не кажется, что мы открыли для себя еще один остров?

Методист шел за ними, все слышал и не скрывал удивления:

— Чудной человек капитан, — прошептал он идущему рядом боцману, — ходит по свету и открывает давно уже открытые острова...

Он и не предполагал, что в такую тихую солнечную погоду ветер может гулять по палубе, дуть в спину и донести его искренние слова до слуха капитана.

— Илья Сергеевич, — повернулся к методисту капитан Строгов. — Вы тоже собирайтесь. Приглашаю вас на Остров Айна Вяйке...

Владимир Жилин

Велогонщики

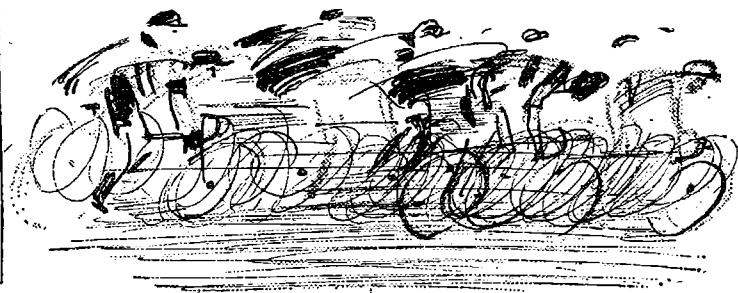
Нажимая на педали,
смяли даль.
Чтобы дали пропадали —
эй, наддай!

Так, наверно, свищет время
с ветром в лад.
Пусть летят на нас деревья
и асфальт.

И с разгону вырастая
из зари,
обогнем мы этот старый
шар Земли.

Мы сумеем, ты увидишь,
добрый шар.
Лишь бы финиш,
лишь бы финиш
не мешал.

г. Краснодар



Людмила Леплейская

На тренировке

И. Родиной и А. Зайцеву

Лед исчерчен вдоль и поперек
Острыми летучими коньками.
Жар дыханья. Ноги как в капкане,
И на плечи давит потолок.

Но опять, до самой темноты,
Кружатся они не уставая,
И на льду рисунок остывает,
А трибуны круглые пусты.

Лед на свете, стужа да мороз,
Но витки сменяются витками,
Чтобы стать тяжелыми венками
Из победных олимпийских роз.

г. Сочи

Юрий Касянич

Монолог яхтсмена

Обожаю под парусами
балансировать на волне.
Ветры яхту погонят сами,
страх желая найти во мне.
Яхта кренится в левом галсе,
чуть не черпая полотном
влагу пенную.

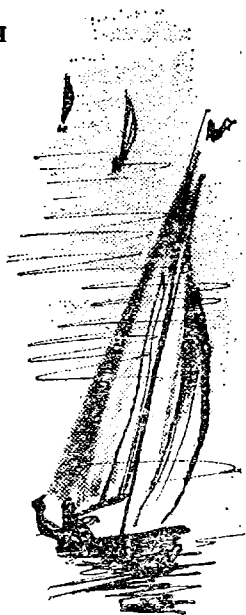
Не пугаюсь.

Прежде — гонка.
А страх — потом.

Чуть небрежно, другим на зависть,
на пределе свой ход держаты!

После гонки,
укрывшись в заводь,
позволяю рукам дрожать.

г. Гага



Лена Глибина — шестнадцатилетняя школьница из Псковской области, из поселка Бежаницы, который расположен недалеко от Михайловского, она — одна из самых юных участниц XVI конференции молодых писателей Северо-Запада.

*

Прощай, прощай, дремучая крапива!
Не спи, моя рассеянная муза!
Прощай и ты, заплаканная ива,
И грузовик с хорошим хлебным грузом!
А вот с коровой рыжей и безрогой,
Так рано встав, идет соседка наша!
Иду и я непыльной дорогой,
Не жду автобус и не рву ромашек!
Я думаю — наверное, когда-то
Шли люди — вдаль — такою же дорогой,
И поднимались на порожек хаты,
И в дверь с мольбой стучали у порога.
И когда дверь хозяйка открывала
И деревянный ковш несла с водицей, —
Небесной глубиной глаз усталых
Светились их коричневые лица.
Прощайте, милосердные хозяйки,
Дай бог вам не отцвезть душой красивой.
Прощай, синиц недремлющая стайка,
Прощай, прощай, дремучая крапива.
Уже вдали заплаканная ива
Почти заглохшим колоколом бьется,
Но как ему любовью молчаливой
С такой печалью сердце отзовется!

Дороги

Дороги люблю — на дорогах видней
Большая планета людей!
На их побережьях — все выше, сильней,
И — люди приветливей здесь.
И сильная радость шагающих ног,
Толкающих версты дорог!
А дома сегодня у нас выходной,
И желтая лампа горит.
Но, в общем-то, скучное дело оно —
Сидеть в этом доме внутри.
Идти бы вот так — за верстою верста,
Не чуя от радости ног!

И фары летят, и снега — красота, —
Люблю побережья дорог!

Эх, коня бы мне!

Дома кормят пирогами,
Дома пахнет чесноком.
Возле печки сапогами
Пол уставлен целиком.
Вот напьются чаю дома,
в чай варенья положив.
Может, кто-то из знакомых
На минутку забежит.
Сестры, матушка в платочке
Разговоры заведут,
Что, мол, надо старшей дочке
После школы в институт.
Как так можно ошибаться,
Вы бы знали... Слово право —
Эх, коня бы мне — и мчаться
По волнующимся травам!
По степи разгоряченной
И на взмыленном коне!
А работать — увлеченно
И зимой, и по весне!
В институте том и следу
Моего не может быть,
Я на пасеку уеду,
Чтоб за пчелами ходить!

*

Вдали — незнакомые дома,
Внизу — незнакомый овраг!
Навстречу — старик незнакомый,
Суровый, как древний варяг!
Идет он из дальней деревни,
Идет он, конечно, пешком
По местности грустной и древней,
С большим полотняным мешком!
— Скажите, деревня какая?
— Степанькино, — дед отвечал.
Деревня такая лесная,
Высокий растет иван-чай.
А дед ни о чем не спросил нас
И мимо прошел не спеша.
Но только во мне прояснилась
Простая живая душа!



Зачем и кто идет в ЛИТО...

С тобой произошло нечто непредвиденное и странное: в тебе — вдруг! — начали звучать не совсем обычно связанные друг с другом слова, ритмичные фразы, которые не забывались, не терялись в дебрях памяти, а застревали в мозгу, как занозы, и прямо-таки требовали добавлять к ним другие фразы «на тот же мотив».

Ты шел на занятия, брался за книгу, отвлекался ремеслом, пытался уснуть, но это не отпускало, не давало покоя, и ты наконец взял бумагу, какая под руку попалась, и — чем писать, зафиксировал придуманное и увидел, что получилось стихотворение.

Принято считать, что стихи начинают сочинять, когда влюбляются. Так происходит часто, но совсем не обязательно. Хотя и верно — первое стихотворение провоцируется обычно толчком любого сильного чувства: восторга, гнева, изумления, печали, неожиданного прозрения... Но никогда — мелкой завистью, злобой, раздраженным самолюбием. В этом, как говорится, есть некая «сермяжная правда».

Итак, ты, оказывается, написал стихотворение! Перечитав его раз двадцать про себя и вслух, ты чувствуешь неодолимую потребность поделиться им с кем-нибудь. «Неодолимую» — написано не для красного словца: удержаться от этого шага действительно невозможно. Знакомый мне мальчик однажды разбудил свою уставшую за трудовой день, поставившую будильник на полседьмого следующего дня, маму в два часа ночи и произнес следующее: «Мама, дай мне честное слово, что ты не будешь смеяться!» После чего прочитал ей только что сочиненные стихи.

И ты, робея, краснея, заплетаясь языком, а то и напуская на себя этакое залихватство, этакую пренебрежительность: вот послушай, дескать, ерунда какая-то, сам не понимаю, что это, — и ты декламируешь собственное сочинение самому близкому человеку: маме, брату или сестре, другу. И, как правило, встречаешь одобрение! Прежде всего твоих близких изумляет ситуация в целом: не писал, не писал — вдруг взял да написал; не старался — однако получилось; да и складно, да и трогательно, откуда что взялось?

Ты счастлив. Тебе хочется писать еще и еще, ты начинаешь к себе прислушиваться, себя подталкиваешь и — о чудо! — слова снова и снова звучат в тебе, снова и снова складываются в строки, вдохновение несет тебя, ни о чем другом и думать не получается.

Время идет, и в ящике твоего письменного стола, в твоей тумбочке, иногда под матрасом, в тайнике каком-нибудь — уже не отдельные листки, а от корки до корки исписанная тетрадка. Ты ли-

стаешь ее, читаешь себя уже более трезво, сравниваешь одни стихи с другими, пытаешься определить, какие лучше, какие похуже. И... понимаешь, что сам это сделать не в силах. Да и друзья-знакомые, охотно слушающие твою декламацию, вряд ли смогут помочь. Надо обращаться к человеку понимающему.

И вот ты стоишь перед учительницей литературы или перед сотрудником заводской многотиражки, а если очень храбрый — стучишься в двери отдела поэзии молодежной газеты или даже приходишь на консультацию в местное отделение Союза советских писателей. Говоришь, что хотел бы познакомиться со своими стихами, узнать их оценку. И слышишь: «Что ж, давайте (или оставьте), через столько-то дней получите ответ».

Это — жуткий момент. «Оставьте...» Но ты не умеешь расставаться со своими стихами, ты никогда еще не оставлял их без себя, наедине с посторонними людьми! У тебя и тетрадка-то одна, все — в единственном экземпляре, а если, боже упаси, затеряется? Кроме того, ты понимаешь, что сравнивать будут не твои стихи с твоими же, а твои — с другими, написанными кем-то...

Но — дело сделано. Остается ждать объективной оценки своих литературных трудов. А она может оказаться настолько неожиданной, что появится сомнение и в ее объективности. Учительница может спросить, любишь ли ты поэзию вообще, много ли ты читаешь? И добавить, что сочиняющему стихи человеку тем более стыдно не знать простейших правил грамматики, употребляют обороты вроде «текла вода из крана забытого закрыть». И, совершенно справедливо негодуя по поводу злодеяний чилийской хунты и столь же справедливо полагая, что история предъявит ей свой счет, слово «счет» не следует все же писать через «щ». «Да при чем здесь грамматика?! — подумаешь ты. — Впрочем, чего же ждать от учительницы...»

В заводской многотиражке могут огорошить иным:

— Мы напечатаем два ваших стихотворения. Поздравляем!

— Они — хорошие?

— Не в этом дело. Бывают и хуже. Но газете важно, что вы — токарь и вот пишете стихи.

И ты, даже обрадовавшись в первый момент, снова охвачен сомнением: при чем здесь токарь?

В молодежной газете, тем более — в отделении Союза писателей юному, подающему надежды автору вероятнее всего посоветуют посещать какое-нибудь литературное объединение. Сокращенно — ЛИТО.

Признаюсь честно: до того, как в журнале «Аврора» со мной начали разговор об этой вот статье, я не упускала случая похвалиться тем обстоятельством, что выросла для литературы вне всяких там ЛИТО. Сама! Однако, взявшись рассуждать на эту тему ответственно, то есть честно, поняла, что самостоятельность моя была весьма относительной. Да, я не посещала регулярно занятия какого-либо литобъединения, в том числе и своего «родного»: на филфаке Ленинградского университета. Но и в этой непосещаемости был смысл, были какие-то значимые события. На первом курсе я таки пришла на собрание университетских поэтов. Убедилась в том, что из десяти филологов восемь пишут стихи, причем семь из этих восьми — куда лучше меня, и далее посещать ЛИТО устыдилась. На пятом же курсе то ли у меня голос порезче прорезался, то ли уровень наших пишущих чуть снизился, но я осмелела,

пришла на два или три занятия, даже выступала, даже свое что-то читала. И первые стихи мои были опубликованы в коллективном сборнике, сформированном в основном из стихов членов литобъединения.

Что же дает молодому человеку, пробующему, утверждающему свои силы в искусстве стихосложения, регулярное пребывание в среде себе подобных? Прежде всего — именно это облегчающее сознание: он не одинок в своем увлечении, он — не чужак, не выскочка, не чудо природы, а один из не очень уж большого, но и не из малого числа людей, самых разных по возрасту, профессии, по степени литературной подготовленности и образования. Кстати, как мне кажется, своевременное вхождение в самодеятельно-профессиональную литературную среду удерживает молодого автора от поступка, который, если от него не удержаться, вспоминается позже со стыдом и ощущением тяжести на душе. Вышеупомянутый автор не посылает своей первой заветной тетрадки ни в центральную печать, ни тем паче — знаменитому писателю...

Итак, первое занятие... И сразу же — чисто школярский страх: вдруг «вызовут»? Но руководитель только спрашивает, не хочешь ли ты почитать свое, и на твоё паническое «нет!» согласно кивает: «Оглянитесь, послушайте других, попривыкните...» И ты оглядываешься, привыкаешь. Поначалу многое удивляет: девочка-первокурсница делает замечание солидному человеку, как выясняется, кандидату наук, а тот терпеливо слушает да еще и благодарит. Столяра-краснодерева корят за формальные изыски: он свои стихи называет «фугами», любит «накручивать» образы, а лучшие его строки чеканны, просты и сразу запоминаются: «Вновь над землею ржавой короною венчана осень на царство короткое». А вон про того «пэтэушника» в форменном пиджаке говорят, что у него скоро выйдет книжка...

Еще одна неожиданность: разговор начинается не с того, что за минувшую неделю написал, а что что интересное прочитал. Видимо, советы твоей учительницы диктовались не только ее профессиональным долгом... А уж когда дело доходит до чтения стихов, ты убеждаешься, что занятие, дававшее тебе до поры легко, как бы само собой, на самом деле требует к себе отношения серьезного и ответственного, неустанных усилий души и ума. Как много уже умеют твои товарищи! И, насколько можно судить из их разговоров, — не в ущерб своему основному делу, своей профессии.

Как хорошо! Как чисто на душе!

В бору звенят, потрескивая, сосны,

С хвои зеленой облачком хрустальным

Почти незримый иней осыпая

Вдоль рыжей чешуи стволов ветвистых,

Местами освещенных ярким солнцем.

Морозный воздух сух, смолист, прозрачен:

Огромное пространство Двинской поймы

Раскинулось, холмами поднимаясь

К невидимому в дымке горизонту.

В далеких деревеньках дым из труб

Струится в небо мягким очертаньем;

С лугов два «Беларуся» ярко-желтых

Большущий стог в одной упряжке тянут;

За ними следом галки и вороны

Летят в надежде сеном поживиться..
Как все знакомо мне! И это небо,
Такое чистое и нежно-голубое,
И этот берег над заснеженной рекой,
И ощущение и счастья и покоя.

Как точно, как выпукло, проясненно выписаны детали. Та-
кая чистота зрения свойственна не столько приглядчивому глазу,
сколько любящему сердцу. Кажется, можно ли о природе напи-
сать по-другому? Еще как можно! Причем суметь разглядеть тор-
жество этой природы не на просторах Двины, а в обычном го-
родском квартале.

Из-за угла большого дома
я вышел и попал в объятия
лучей горячих и событий.
На крышах лед кололи ломом,
и все ребячье занятя
сводилось к радости открытий.
И чем-то пахло, опьяняя,
какой-то свежестью и светом,
и теплым безрассудным ветром,
и мчалась, время обгоняя,
за первой оттепелью следом
весна, и оживали ветви.
И лишь за возведенным домом
сугробы прятались за стены
и птицы на ветвях не пели.
Но озорным своим изломом
ручьи пробили царство тени
и там устроили веселье!

Познакомившись со стихами такого рода, ты уверишься в том,
что разговоры об аллитерациях и ассонансах, о метафорах и син-
таксических фигурах — не излишни, не пустопорожни, ведутся от-
нюдь не с целью «образованность свою показать». Но все так на-
ываемые формальные качества стиха — это одновременно и явле-
ния его сути. Жизненность описания и убедительная передача ав-
торского настроения в первом из приведенных стихотворений дости-
галась точным сочетанием простых слов, выстраивавшихся в поч-
ти естественно-разговорном порядке. Во втором случае то же впе-
чатление достигается совершенно иным способом: изысканной, хо-
тя и не нарочитой рифмовкой, звонкой звукописью. «На крышах
лед кололи ломом...» Попробуем поставить вместо — ну хоть: «Снег
падал с крыши плотным комом». Вроде бы и по смыслу реально,
и в размер укладывается, и рифма соблюдена, а впечатление по-
тускнело, поскучнело: исчезли эти колокольные «ло» и «мо», и
«коло», и «...лоли ло...»

Зима, весна... А вот и лето! Точнее — конец лета.

И заметил я вдруг, что коровы
Потеряли ко мне интерес.
И пастух мне бросает: «Здорово!»
Человечье — не божье с небес.
Пес бельмастый принялся тоже..
Мы теперь, так сказать, «кореша»!
За его осторожную рожей
Крылась честная песья душа.
И хозяйка, сдававшая дачу,

Все твердит: «Приезжайте опять...»
И сует к приглашенью в придачу
Груш и яблок, да не во что взять.
Лучше я посмотрюсь напоследок
На дорогу, на озеро, лес...
Ведь недавно огромного лета
Стало вдруг отчего-то в обрез.

Наверное, стихотворение и тебе, новичку, понравилось... Хотя... Тебя явно смутило слово «дача»... То ли дело — родная деревня, отчий дом, мать-старушка, в тщетном ожидании томящаяся у околицы... А тут «хозяйка, сдававшая дачу». Разве о таком пишут в стихах?

Пишут. Потому что настоящие стихи живут в мире не придуманном, а в нашем, реальном. И автору в них лучше честно оставаться самим собой, со всеми особенностями и обыкновенностями своей судьбы, а не взбираться на ходули условно-поэтического образа. Читатель, кстати, такое сразу чувствует. И если он не поверит в доподлинность твоих малых переживаний, он и к глобальным твоим заявлениям останется равнодушен. И тут ты, может быть, догадаешься, что в одном из первых своих стихотворений, в том, где ты обличал чллийскую хунту, главная ошибка состояла не в написании слова «счет» через «щ», а в том, что обличения твои носили характер всеобщий, не имели личного оттенка, — ты потропился доверить бумаге слышанное и читанное и пропустив это через свое сердце, не сопрягая с личным своим житейским и гражданским опытом. А о великом, всенародном можно, оказывается, сказать не очень гладко, очень пока что ученически, но так, что берет за душу. Речь идет о стене, возле которой похоронены герои минувшей войны.

Здесь голоса живых
Исходят от стен немых.
И чтоб не умолкли они,
Чтоб не остались одни,
Здесь факел вечным огнем
Их освещает ночью и днем.
И многострадальная Родина-мать
Готова вечность над ними стоять.

Что подкупает в этих строчках? Наверное, прежде всего вот это: «чтоб не остались одни...» Видимо, писал так человек, с одной стороны — привыкший жить в коллективе, ощущать поддержку и сам поддерживать друзей, с другой — рано оторванный от родного дома и оттого пуше других ценящий материнскую заботу. Одиночество в его представлении — состояние настолько тяжелое, что именно от него готов он силой поэтического воображения оградить павших в бою.

Наконец и ты решишься познакомить товарищей с тем, что написал. Поймешь, что главное не то, раздракуют тебя или расхвелят, а в том, что помогут тебе понять себя самого, отметят то, чего сам не заметил, подскажут, где сам выхода не нашел. А однажды не удержишься; услышав, как молодой автор просит нарисовать для него «...рядом с кошкой — трубочиста, что веками трубы моет, и узорные окошки, герб и рыцарский пароль», ты скажешь, что трубочисты трубы не моют, а именно чистят, и что пароль нельзя нарисовать, это секретное условное слово, непременно пронзенное вслух. По поводу стихов того же автора ты мо-

жешь засомневаться, хорошо ли рифмовать «уходят» и «восходят». И непременно кто-то скажет, что так нельзя, что это все равно как рифмовать «ботинки» и «полуботинки», а кто-нибудь возразит, что в принципе можно все и что такая рифма, например, придаст особый смысл и смак известной частушке несомненно народного происхождения:

Я иду, иду, иду,
Стану да подумаю:
У него жена и дети,
Что ж я, дура, думаю?

Вы будете спорить, вскрикивать, вскакивать с места, взмахивать руками и при всем том — стараться проявлять уважение и доброжелательность к оппонентам, потому что такой уж у этого ЛИТО стиль...

Хочу в заключение сказать, что ЛИТО бывают самые разные: одни помельче, другие помногочисленнее, в одних привечают любого, кто бы ни зашел, в других — довольно строго отбирают участников, в одних — больше любят поговорить сами, в других — позвать кого-то со стороны и послушать. Сам факт пребывания в ЛИТО никаких литературных привилегий не дает. Скорее уж просто участие в его занятиях — своеобразная привилегия: люди, случайно зарифмовавшие несколько строк, люди безграмотные и обделенные литературным вкусом, литературным слухом, люди, жаждущие прежде всего признания или скандальной славы, в ЛИТО либо не попадают, либо вскоре отсеиваются. Может быть, в силу именно этих причин литературные объединения являются носителями духа творческого бескорыстия, беззавистливого товарищества, они учат использовать свободное время самоотверженно в смысле практической пользы и плодотворно для внутреннего развития.

Для данного материала я использовала опыт и традиции одного из старейших и известнейших литобъединений Ленинграда — ЛИТО «Голос юности», которое вот уже тридцать лет существует при Доме культуры учащихся профтехобразования, что на улице Софьи Перовской. Занятия его посещали поэты Глеб Горбовский, Виктор Соснора, Наталия Галкина, прозаик Галина Галахова, журналист телевидения, ставший лауреатом Государственной премии РСФСР, Евгений Синицын. В настоящее время объединением руководят писатели Алексей Михайлович Ельянов и Галина Алексеевна Галахова.

Цитировались в статье полностью или в отрывках стихи Алексея Хрущева, Марины Овчаровой, Владимира Балдина, Игоря Александрова, Бориса Никитина, Александра Конопатского. «Пэтэушника» в синем мундирчике, у которого скоро выйдет собственная книжка, зовут Алексей Любегин.

На «огонек» литобъединения нет-нет да и залетят его прежние активисты: Валерий Федоров, семнадцать лет проработавший сотрудником окружной газеты в Эвенкин, строитель мостов на БАМе Игорь Румянцев, Леонид Артеменко из Воронежа, Алексей Ковалев из Ярославля.

И если ты, которого я создала чисто умозрительно, но к которому на протяжении этих страниц привыкла и ощущаю как вполне реальную личность, если ты попадешь именно в это ЛИТО, то я очень рада за тебя.

Желаю успеха!



„Недаром Ладога родная...“

Мы все, ленинградцы, живем в межозерье. Утром поворотись лицом на восход солнца — там Ладога, к полдню то самое солнышко, что над нами, уже купается в Ильмень-озере, к вечеру, идя на посадку, озаряет Псковское и Чудское. Между большими нашими озерами тянутся ожерелья озерной мелочи: Долгие, Круглые, Щучьи...

Самое главное, материнское озеро — Ладога. Если подняться из Ладоги по Свири, повыше Подпорожья, там уже скажут, что главное — это Онего. Онего-батюшка!

Онего — батюшка, а Ладога — матушка. Им друг без дружки нельзя. Они соединены аортой — Свирью...

Хорош Онего-батюшка, но Ладога ближе, роднее.

«Эх, Ладога, родная Ладога! Метель, и шторм, и бурная волна... Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа...»

Ни одно озеро в мире не удостоилось звания Дороги жизни, только Ладожское. Жизнь просачивалась в блокадный Ленинград по двум ладожским трассам: из порта Новая Ладога в Осинец — это длинное плечо, сто двадцать километров, и от Кобона-Кареджинского причала туда же, в Осинец, — короткое плечо, тридцать километров. Каждый куль муки, переправленный в Ленинград по Ладоге, был эквивалентен определенному сроку жизни для определенного числа людей: рабочих и служащих, иждивенцев.

В навигацию продукты доставляли в Ленинград на деревянных баржах, только что построенных на верфи в Сясьстрое — верфь создали на базе бумкомбината; на металлических самоходных баржах-тендерах, сконструированных и сваренных ленинградскими корабелами, на буксирных и пассажирских пароходах — на всем, что могло плыть, держалось на воде.

В зиму дальнейшее плечо трассы не действовало, продукты везли из Кобоны в Осинец по льду, через Шлиссельбургскую губу.

Движение на Дороге жизни было двусторонним, и каждый рейс, каждая ездка туда равнялись по значению каждому рейсу, каждой ездке оттуда. Из Ленинграда везли на Большую землю ленинградцев, большей частью чуть живых, умирающих от голода. Переехать Ладогу означало выжить. Не только самому выжить, но и увеличить шансы на жизнь тем, что остались в блокаде: пайка уехавшего попадала в общий котел блокадников.

Это все общеизвестно, о Дороге жизни написаны книги. В Основце есть музей Дороги жизни. Но для меня, как, наверное, для всякого ленинградца моих лет, в общеизвестном есть что-то личное. По Дороге жизни поздней осенью 1941 года ко мне приехала моя мама. Меня вывезли из города раньше, еще до блокады, в Новгородскую область, в Пестово. Что такое блокада и что такое Дорога жизни, тогда еще никто не знал.

Ко мне приехала мама, ее перевез по Ладоге из уже блокированного Ленинграда буксирный парход «Орел». Это я запомнил на всю жизнь: мама приплыла на «Орле». В книге «Ладога родная», составленной из воспоминаний ветеранов Ладожской флотилии, я прочел, что особенно отважно и непотопляемо работал на штурмующей Ладоге под бомбежками буксирный парход «Орел», капитаном на нем был Ерофеев.

Я прочитал об этом «Орле» и о капитане Ерофееве с таким чувством, как будто они мне родные. Моя дорога жизни, то есть мой жизненный путь оказался каким-то образом связанным и с «Орлом», и с Ерофеевым. Если бы не навик и удачливость капитана Ерофеева, мама не добралась бы до меня. Многие не добились. Одним Ладога дарила жизнь, для других становилась вечным прибежищем.

После той ночной переправы через Ладогу в сентябре 1941 года мама прожила на свете еще почти сорок лет. Незадолго перед смертью, тоскуя в ожидании смертного часа, она просила меня: «Мне так тошно целые дни одной! Ты мне принеси тетрадь и ручку. Я хоть буду что-нибудь записывать». Я знал, что маме тошно одной, но я не мог понять — и никто не может — всю безысходную тоску предсмертного одиночества. Мне казалось, что мама еще подождет, что вот я свершу какие-то свои главные и неотложные дела, выдастся у меня свободное время, мы еще поживем вместе с мамой. У нас была разная мера времени, но я про это не знал...

Мама умерла неожиданно, тихо, одна. Написала она совсем немножко, несколько страничек. Написанное завещала своей внучке, моей дочке. Как всегда, строго-настроено наказала мне, может быть, за неделю до смерти: «Ты отдай это Кате. Пусть она прочитает и сохранит. Это ей надо знать».

Мама написала о переправе через Ладогу на «Орле». Она лежала целые дни одна в пустой квартире, наверное, не раз переехала заново в памяти всю свою жизнь, но записала только это, о переправе. Ею руководило, должно быть, какое-то чувство долга: это принадлежало не ей одной; унести с собой знание об этом она не могла позволить себе...

«В конце сентября 1941 года тресту «Ленлес», управляющим которого был мой муж, Александр Иванович Горышин, было предложено эвакуироваться в Тихвин, чтобы оттуда снабжать Ленинград топливом. Дом наш (на Большой Московской) к этому времени разбомбили, и мы жили в тресте (угол Невского и Мойки).

Сотрудники треста и несколько членов их семей на двух грузо-

вых машинах поехали на Ладожское озеро. Перевезти трест через озеро должен был буксирный пароход «Орел». Дни стояли короткие, темнело рано, зажигать фары было нельзя, и мы в темноте, в сутолоке машин и пешеходов направились в указанное для переправы место.

События тогда менялись не в течение дней, а в течение часов. Свернув с наезженной дороги, согласно заранее составленному плану, мы чуть не попали к фашистам. Это было где-то в районе Невской Дубровки. Шоферы выбились из сил, и вообще требовалась какая-то передышка, физическая и моральная. Пугаясь по малоезженным дорогам, мы натолкнулись на деревушку и решили сделать привал. Стреляли со всех сторон. Где наши, где немцы, ничего нельзя было понять. В деревушке не осталось ни единого человека, окна все выбиты, мы сбились на полу избы и согревались друг о дружку.

Вдруг вблизи раздались какие-то необычные звуки. Мы выбежали на улицу. Над деревней шел воздушный бой. Страшная и незабываемая картина!

С рассветом удалось добраться до озера, но подъехать близко к нему не было никакой возможности. Деревянную, наспех сколоченную пристань бесконечно бомбили. Водолазы под градом бомб и пулеметных очередей с вражеских самолетов вытаскивали мешки с мукой, так как накануне близ пристани потопили баржу с мукой.

В какие-то короткие передышки между бомбежками наши мужчины пытались проникнуть на пристань, чтобы разыскать «Орел», предъявить соответствующие документы и погрузиться на него. Никакого «Орла» обнаружить не удавалось. Грузилась в самоходную баржу Военно-медицинская академия; к несчастью, как стало известно позже, барже не удалось достичь противоположного берега, многие погибли под бомбами.

Трое суток мы, почти обезумевшие, боясь потерять друг друга, прятались в жидком болотистом лесу, прилегающем к пристани. На третью ночь сгустился такой туман, что стало ничего не видно в двух шагах. Бомбежка прекратилась, и «Орел» наконец отыскался. Это был маленький буксирный пароходик, на котором заплат было больше, чем живого места. Как-то нас покидали с пристани на «Орел». К этому работяге еще прицепили тяжелую баржу, и в крошечной тьме мы отчалили от пристани. Очевидно, для нашего ободрения нам сказали, что буксир будут сопровождать две канонерки, но, увы, увидеть их нам не пришлось...

Ладога разбушувалась до такой степени, что устоять или хотя бы усидеть не было никакой возможности. Можно было только к чему-то прижаться и за что-то ухватиться. Я, в силу своей профессиональной обязанности (я врач), как-то держалась на ногах и оказывала посильную помощь нуждающимся в ней.

К рассвету, когда мы уже миновали большую часть пути, туман стал рассеиваться, впереди проступил желанный для всех берег. Капитан (если не ошибаюсь, Ерофеев) сказал: «Ну, кажется, сегодня пронесло. Ваше счастье, что туман защитил вас. Нам редко удается проскочить без бомбежки».

Счастливые, хотя и здорово потрепанные, мы сошли на твердую землю, на безопасный берег».

Прочитав в книге «Ладога родная», что капитаном на «Орле» был Ерофеев, я обрадовался: мама не ошиблась, память не изме-

нила ей; но сразу вспомнил, что радостью этой не с кем мне поделиться...

Я все говорю о маме, но ведь и отец мой переплыл тогда Шлиссельбургскую губу, из Осиновца в Кобону, на буксире «Орел». Только для него это было служебное плавание. Он и после не раз еще плывал по Ладоге, по Неве, по впадающим в Ладогу рекам. На оставшихся отцовых фотографиях он то и дело глядит капитаном или, лучше сказать, командором, с биноклем на груди, на мостике какого-нибудь буксира или лихтера, разумеется, во время лесосплава. Мой отец был капитаном и командором лесозаготовок и лесосплава в бассейне Ладоги. Мальчишки в нашем ленинградском доме, на Гангутской улице, прозвали его королем дров.

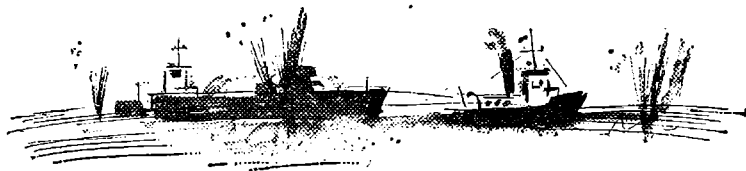
Иногда я бываю в Осиновце, на мысу, брожу по березнякам, прилегающим к бывшей здесь когда-то пристани. Смотрю на лазоревое под ясным небом озеро, стараюсь проникнуть взором во что-то такое, чего на поверхности не видать, в какую-то даль и в какую-то глубину. Но на воде не бывает следов — на воду смотришь, воду и видишь. Трудно представить, что это дачное, пригородное местечко — Ладожское Озеро — с электричкой у платформы, с очень каким-то рассудочным монументом, было началом Дороги жизни...

Мне все кажется, что о ком-то мы позабыли и чьи-то души гитают вот в этом жидком, болотном лесу. И березы кажутся иногда простертыми к небу руками, а сферическая округлость Шлиссельбургской губы — чьим-то глазным яблоком...

Когда я смотрю в ту сторону, куда уплывали буксиры, баржи, тендеры, куда уезжали трехтонки и полторки, я думаю о тех, кто не доплыл, не доехал. И хочется мне увидеть на Осиновецком мысу памятник недоплывшим и не доехавшим. Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа... Легко жизнь никому не давалась в блокадном аду. Дорога жизни, даруя жизнь, тоже была кругом ада. Смерть косила на этой дороге с первого до последнего ее дня, с железной бесчеловечностью и неустанностью машины...

Иногда я бываю в Кобоне. На сто третьем километре Петрозаводского шоссе стоит на пьедестале полторка. Здесь проходила Дорога жизни — уже по Большой земле, от причала в Кобоне на станцию Войбокало. Полторка в натуральную величину — не то натуральная полторка, обмазанная чем-то белесым, не то слепленная из гипса. Ни то ни се. Подлинность реликвии не сохранена, монумента-символа не получилось...

От поворотки с шоссе до Кобоны километров двенадцать. Дорога лесная, сосняки молодые, послевоенные; места здесь грибные, у обочин стоят машины, небо над дорогой по-северному низкое; чем ближе к Ладоге, тем корявее, скрюченнее березы — ладожский ветер скрутил. Лес перемежается совхозными полями. На придорожных насыпях малинники.



В большом селе Лаврово асфальт и грунт сменяются булыжником, должно быть, почтенного возраста, но упаси бог, какой он ядреный! Едешь по булыжному тракту, как по бороне. Тракт идет берегом старого Ладожского канала. Замечаешь грубо гранённые каменные верстовые столбы-тумбы. Это не трактовые — канальные версты. Столбы ставлены если не при Петре, то уж всяко при Елизавете.

Самого канала не видно, он зарос ивняком. И так до самой Кобоны. В Кобоне мост через старый канал, потом мост через Кобонку. Кажется, здесь, у моста, поставят памятник поэту Александру Прокофьеву, он родом отсюда. Мосту, то есть гранитному основанию моста, более двухсот лет. Отсюда видна Ладога, видны проходящие по Ново-Ладожскому каналу суда, рыболовецкий причал. Отделенная от села старым каналом и Кобонкой, высятся церкви. Издали она хороша. Строивший ее не то купец, не то промышленник распорядился увенчать шпиль церкви многогранным стеклянным шаром. Грани этого затейного шара преломляют солнечные лучи, разлагают поток света на оттенки спектра. Обратя взор к маковке шпиля, можно уловить оранжевый, или зеленый, или лиловый, или алый луч. Это сделано для красоты и до сих пор красиво, хотя сама церковь до самой крайней степени одряхлела, того и гляди шпиль ее рухнет.

Между прочим, эта самая церковь послужила первым прибежищем для каждого ленинградца, переплывшего или переехавшего Ладогу. А было их — миллион! Толстые кирпичные стены церкви спасали блокадников от дьявольского ладожского ветра. Церковь в Кобоне поставлена таким образом, чтобы можно было видеть ее издалека, с озера. Если церкви не станет, Кобона что-то потеряет, а жаль.

Когда я въезжаю в Кобону, меня охватывает такое же чувство, какое я испытал однажды, въезжая в Венецию. Я не хочу сказать, что Кобона похожа на Венецию. Площадь за мостом через Кобонку, конечно, отличается от площади святого Марка. Но в Кобоне, как и в Венеции, люди подружились с водной стихией так близко, будто они водоплавающие. Вот эта особенная небоязнь воды, должно быть, черта характера жителей как Венеции, так и Кобоны. Впрочем, эта же черта наличествовала и в характере основателей Петербурга...

По старому каналу плывет в широко распертой шпангоутом ладожской лодке смотритель маяка Кареджи Костя Климин. Он плывет, как положено ладожанину, стоя. Стоит он не в корме, а посередине лодки, держит в руках слегу, соединенную с рулем. Стойка у него каменная, чем-то он похож на верстовую приканальную тумбу. Костя саженного роста, лицо его, со скулами-лемехами, под действием ладожских ветров обрело фактуру мореного дуба. Вот о таких своих земляках написал в тридцатые годы Александр Прокофьев шесть песен о Ладоге...

Мы, рядовые парни
(Сосновые кряжи),
Ломали в Красной Армии
Отчаянную жизнь.

Близкое общение людей с водной стихией на протяжении поколений, думается, можно поставить не на последнее место в ряду причин, побуждающих к писанию стихов или красочных полотен. В Венеции Тинторетто и Гольдони, в Кобоне Александр Андреевич

Прокофьев... (Да простится мне такое притянутое за уши сопоставление; в Кобоне хочется пометчать и пофантазировать.) Строки прокофьевских стихов здесь будто вчужденны в берега каналов, их можно слышать в ропоте ладожского наката,

О Ладога-малина,
Малинова вода,
О Ладога, вели нам
Закинуть невода.

Смотри, какие ловкие
Идут в набег лихой,
Чтоб хвастаться похлебкой
Налимовой ухой.

А я в стихах недаром
Чуть свет за слово бьюсь,
Я хвастаюсь амбаром,
Мережами хвалюсь!

Когда же строил кровлю
Для действенных стихов —
Я сам готовил бревна
И уходил за мхом.

И, прибывая дранку
Над каждую строкой,
Я слышал плач тальянки
Над тихую рекой.

В Кобоне есть березы, посаженные Александром Прокофьевым. Осталась еще кое-какая прокофьевская родня, женщины в этом роду — пещельницы и сказочницы; из этого источника черпал вволю поэт. Нынче к неунывающим старушкам навевается, обирает последние составитель сборников сказок и песен Ленинградской области Владимир Соломонович Бахтин. Он же и автор одной из книг об А. А. Прокофьеве, и страстный кобонский энтузиаст.

Когда некому стало учиться в Кобонской средней школе (Кобону постигла та же участь, что и некоторые другие села в Приладожье: жители разъехались кто куда), благодаря заботам Владимира Бахтина здание школы передали на баланс Литературного фонда. На первом этаже разместили экспозицию, посвященную жизни и творчеству А. А. Прокофьева. Здесь же будет экспозиция Дороги жизни, пока что она в местном клубе.

На втором этаже школы, в пустующих классах, летом живут и работают писатели. Впрочем, наилучшее время здесь — это осень, когда пойдут грибы и поубавят свою активность комары.

Летом и осенью в Кобоне людно, на площади у магазина скапливается по нескольку десятков автомобилей. Мосты через Кобонку и старый канал давно нуждаются в перестройке, но работы такого размаха не по карману сельсовету. К зиме Кобона пустеет, заметнее становится каждое лицо. Постоянных жителей здесь совсем немного.

Вот только Костя Климин обосновался жить капитально. Поставил новый дом — сын ему помогал... Куда он поплыл-то? Небось на Ладогу по воду. Такой парадокс кобонский: на многих водах стоит Кобона, а в колодцах солоноватая вода, в каналах: в ста-

ром — непроточная, стоялая, в новом — духовитая от активного судоходства. В Кобонку стекают с полей растворы и смеси минеральных и органических удобрений. Кобонские жители плавают по воду в Ладогу — чем дальше от берега, тем слаще ладожская вода. Слаще не по вкусу, а в том смысле, что — ладожская, не с берега, а на глубинах взятая, та самая, про которую говорят, что можно ее заливать в аккумулятор, до того чиста... Мало ли что гззерят и мало ли что куда заливают...

Весною Костя жаловался на зимних рыбаков: до того избаловались, спасу нет от них, добираются до маяка Кереджи, как ни запирай помещения — взломают; что деревянного есть — сожгут. Стужка-то лютая на озере, и рыбак нынешний лют: из-за этой самой рыбешки собственной жизни не пожалеет. Собирался Костя уходить с маячной должности, поскольку нести материальную ответственность за бесчинства на маяке зимних рыбаков казалось ему накладно и неразумно. Да и небезопасно — одному, безоружному, среди пустынных вод. Кажется, Костя уходит с маяка... На нем остаются должности коменданта-истопника на базе отдыха Волховского завода и сторожа в школе.

Все должностные обязанности сполна разделяет с Костей его жена Мария. Это надо особенно подчеркнуть, поскольку жизнь в нынешней Кобоне, да и шире — во всей здешней округе — зиждется на женских трудах, общественных и домашних. Женщины держат тепло в очагах, курится над трубами дым, пахнет жильем...

Председателем Кобонского сельсовета (контора его в Лаврове) Галина Николаевна Кречетова, женщина видная, статная, в любое время года обветренная, загоревшая на дорожных ветрах. Врачует в Кобонском медпункте Анна Дмитриевна Прокофьева, жена двоюродного брата Александра Андреевича. Анна Ивановна Ефимова просто сельская старуха, каких многое множество в наших селах. Она поет старинные песни. Бахтин их записывает. Однажды он пообещал заснять Анну Ивановну для кино. И правда, машина с киноаппаратурой пошла в Кобону, но не дошла: мостки под Лавровом не рассчитаны на большегрузный транспорт. Анна Ивановна после выговаривала Бахтину: зря наряжалась и волновалась...

У Анны Ивановны девять детей, большинство из них в нетях. Дочь ее продавщицей в кобонском магазине. Когда дочь отпускает продукты матери, то бывает с ней щепетильно-официальна, расчет ведет до копейки, не допускает не только кредита, но и каких бы то ни было родственных чувств. Мать немножко заискивает перед дочерью. Я не раз был свидетелем этих семейных сцен в магазине на старом канале. Когда дочь по ту сторону прилавка, а мать по эту, то между ними не только прилавок, но еще, как у нас любят теперь говорить, психологический барьер.

Клубом в Кобоне заведует Лидия Макаровна. Фильмы здесь показывают, как и во всех российских глубинках, почему-то главным образом сирийские или индийские...

Рыбаки есть в Кобоне, целая бригада рыбаков. Но никого из них я не знаю в лицо. Их время распределено между ловом в озере и домашней жизнью, которая, надо думать, не безмятежна. Дома рыбаков, равно как и рыбацкий причал с приемочным пунктом, все время находятся в зоне повышенного интереса каких-то крейсирующих или лежащих в дрейфе машин с городскими номерами. Легко догадаться, что эти машины принадлежат любителям ладожской рыбы: леща, сига, судака. Не трудно также определить,

наблюдая маневры автомобилистов-рыбодоев, что люди они настырные, предприимчивые, своего не упустят. Каково достается ладожским рыбакам в этой зоне неубывающего к ним интереса городских рыбодоев, я судить не берусь. Говорят, что рыбаки бьют рыбодоев рублем, отдавая свою рыбу чуть ли не по трешке за килограмм...

В некоторых местах, в некоторые моменты рыбацкой жизни денежные знаки вообще оказываются неэквивалентными товару. Иногда рыбу отдают только за пол-литра, иногда за копченую колбасу. В большом селе Устрека, на берегу Ильмень-озера, сам видел, лещей и судаков меняют на клюкву и грибы. Устрека отстоит от леса километров на двенадцать, своих грибов, своей клюквы тут нет. Вот и налачился прямой товарообмен между лесными и озерными новгородцами: вы нам клюкву, мы вам рыбку...

Но это отдельная тема-проблема: рыба — рыба — рыбод.

Если попробовать описать, пусть даже самым беглым образом, физиономию современной Кобоны, в прошлом богатого, крепкого рыбацкого, трактового, торгового села, грех было бы не заметить пусть и приезжую, но укоренившуюся в Кобоне, единственно по любви к этому месту, пару Диановых: Виктора и Ларису. Оба они инженеры, кажется, даже конструкторы. У них два выросших в лесах под Кобоной, на Ладогге, сына. Сами они — Лариса и Виктор — проводят здесь все свое свободное время. У них обоих такие глаза, какие бывают только у ладожан. Книга стихов Ларисы Диановой называется «Ладожанка»:

Я суровая.
Я — ладожанка.
Мне б ружье
да рыбацью снасть,
Выйти в озеро
спозаранку
Или зверя сторожого
скрасть...

Бацилла поэзии, обитающая в кобонской земле, или, скорее, в воде, однажды возбудив к жизни кряжистое, ветвистое, с вечно-зеленой кроной и мощной корневой системой поэтическое дерево, имя которому Александр Прокофьев, дает вспышки и в наши дни, стоит только... В этом месте я прерываю и без того уже затянувшуюся фразу, ибо не знаю, в какой момент, под воздействием каких природных сил прорастает зерно поэзии, какая почва особенно благотворна для него. Да и вряд ли кто знает! «Здесьней», к примеру, кобонской поэзии не бывает. А ежели она заметно «здешняя», то уже и не поэзия.

Все это общеизвестно. Однако же поэтическая душа сплошь диалектична. Так и душа Александра Прокофьева, с годами все более воспаряя, вбирая в себя бесконечную новизну обживаемого мира, как уставшая в дальней дороге казарка, то и дело требовала посадки на водную почву, на милые воды, и заново жадно дышала, оглядывалась вокруг себя, осознала себя именно здешней, получившей тут жизнь, выучившейся полету...

Все книги Александра Прокофьева, от первых до итоговых, пронизаны ладожскими мотивами. А те стихи, в которых иные мотивы, едва ли могут быть истинно поняты как стихи — без знания изначального, ладожского, в поэзии Прокофьева,

Неясные рассветы,
Неясный окоем...
Да были ли поэты
В Приладожье моем?
Да, были, и немало,
Они слова вели:
Отсюда запевалы
На все моря прошли,

Удаляясь во времени и пространстве от своей малой родины, Александр Андреевич снова и снова возвращается в Кобону. В начале шестидесятых годов он пишет стихотворение «Кобона», отвечая в нем на вопрос не только случайному собеседнику, но, очевидно, и самому себе: что значит Кобона для него, умудренного и опаленного жизнью.

Мы шли из Гдыни.

Волны с перезвоном
Наш теплоход и резал, и месил.
Морской буксир по имени «Кобона»
Навстречу шел и хрипло пробасил.

«Что за Кобона?» — спрашивает немец.
На это я отвечу, как могу...
...Вот вспыхнуло огнем багровым Время
В моей Кобоне, на моем лугу.

В моей рыбацкой рядовой деревне,
Где я услышал первый русский стих,
Где Русь была, как говорится, древле
И где могилы праотцев моих!

Когда мой Ленинград узнал блокаду,
Моя Кобона думала о нем.
Она, чтоб билось сердце Ленинграда,
Не раз, не два стояла под огнем...

Кладбище в Кобоне, то есть за околицей Кобоны, в лесу за дорогой, ведущей в деревню Низово, как всякое сельское кладбище в столетиями обитаемой местности, наводит на мысль не только о бренности жизни, но и о ее не используемых нами ресурсах. Соснам и елям на кладбище, может быть, лет по сто или больше. Не тронутые топором деревья в полной красе и силе, и кажется, что они бессмертны...

Ничем особо не выделена на Кобонском кладбище, однако заметна могила отца Александра Андреевича, Андрея Прокофьевича. Он был первым милиционером в Кобоне, его убили бело-бандиты.

На кладбище есть мемориал жертв Дороги жизни. Им тут спится, может быть, и спокойней, чем их братьям и сестрам в других ленинградских мемориалах. Может быть... Но Дорога жизни, обозначенная на мысу Осиновец музейным комплексом, здесь, в Кобоне, пока что не увековечена хоть сколько-нибудь заметно. Хотя смерть наступала казалось бы вырвавшихся из блокадного ада ленинградцев и тут, на Большой земле. И тут была передняя линия фронта. И самое это слово — Кобона — навсегда вкраплено в ген

роическую эпопею Ленинграда как один из кирпичей ее фундамента.

О Дороге жизни в Кобоне сохранились только воспоминания ветеранов да кое-какие следы. Идучи берегом Новоладожского канала, поросшего рябинами и шиповником, летом богатого земляникой, от Кобонского причала на север, к деревне Леднево, спускаешься в глубокую лощину, вырытую в насыпном берегу канала; такая же копань и на другом берегу, в створе напротив. На дне лощины находишь следы уложенных здесь когда-то шпал и рельсов. Вспоминаешь: из Ленинграда сюда вывозили не только людей, но и паровозы, цистерны, целые железнодорожные составы. Вон там вдали, у Кобоха-Кареджинского причала (причал так назвали по имени маяка Кареджи), паровозы съезжали с парома на материк, вот по этой лощине, по усю, проложенному от причала до станции Войбокало, тянулись к единственной железной дороге, соединявшей тогда Ленинград со страной.

Следов осталось немного, их почти что и нет. Еще пройдет время, следов не останется никаких. А жаль. Дорога жизни должна быть увековечена не только на том, ленинградском берегу, но и на этом, кобонском. Если бы в Кобоне был создан мемориальный комплекс устья Дороги жизни (Осиновец посчитаем ее истоком), сюда бы поехали люди не только за грибами или рыбой, но из духовной потребности прикоснуться сердцем к одной из наиболее трогательных и драматических реликвий великой войны.

И еще бы хорошо запретить в Кобоне охоту (Лариса Дианова пусть бы писала стихи о грибной охоте и о рыбалке), убрать с Кобонки охотничью базу, чтоб не молотили из ружей на вечерней или на утренней зорьке. Честное слово, звук выстрела кощунствен в этом месте. И если не станет в Кобоне уток, гусей, куликов, бекасов (а их, несомненно, скоро не станет при такой интенсивности огня, как не стало тетеревов), мы потеряем нечто такое, без чего и поэтическая палитра Александра Андреевича Прокофьева оказалась бы лишенной каких-то красок и полутонов.

Мне предстояло ехать на встречу с ветеранами или, по правде сказать, ветеранками блокадных лесозаготовок сорок первого — сорок третьего года. Я уже встречался с ними и знал, что будут слезы, воспоминания, речи той степени серьезности, выше которой и не бывает. Работа в лесу, у самой линии фронта, в кольце блокады означала для них единственную возможность выжить, не только самим выжить, но и дать жизнь родному городу. Блокадный хлеб выпекали на заготовленных в лесах правобережья Невы, в Приладожье дровах. Заготовляли, трелевали, грузили в машины и на платформы эти дрова ленинградские девчонки, иным из них не исполнилось еще и шестнадцать лет...



О подвиге юных ленинградцев той поры уже в наши дни сложена песня:

По шестнадцать вам было едва,
Никогда не забудет Отчизна!
Были трудные ваши дрова,
Не дрова, а спасенные жизни!

В многофигурном памятнике на площади Победы нет фигуры девушки-лесоруба. И нет еще книги о подвиге ленинградцев в приладожских лесах.

Конечно, никто у нас не забыт и ничто не забыто, но у общественной — официальной — памяти есть своя очередность, выборочность и некоторая медлительность. И надо, чтобы эту официальную память кто-нибудь настырный, неугомонный постоянно тревожил и тормозил.

Есть в Ленинграде такой человек, Виктор Комлев. Ему уже за пятьдесят, но он необыкновенно легок на ногу, строен. Профессия у него не массовая — он жонглер, выступает в концертных бригадах, ездит на гастроли, возвращается в Ленинград и принимается неугомонно напоминать, тормозить, организовывать встречи ветеранов, выбивать средства на памятники, отыскивать в фильмофондах кадры блокадной поры — о лесозаготовках в Ириновке, Самарке, Борисовой Гриве. Виктор Комлев в блокаду тушил пожары, будучи бойцом комсомольского полка; заготавливал дрова для Ленинграда; ушел на фронт, закончил войну в Гданьске старшиной на торпедном катере.

Природа заложила в него способность жонглировать, балансировать на канате. У него, надо думать, очень совершенный вестибулярный аппарат. Но я никогда не видел его на эстраде. Я вижу его почти каждый день хлопочущим о том, чтобы кого-то ненайденного отыскать, чтобы собрать вместе блокадных лесозаготовителей, дать им возможность обняться, повспоминать и наплакаться всласть — и дать уверенность в том, что труды на лесных делянках, как ратный труд на переднем крае, не забыты и что еще услышат о них, дадут им слово...

Виктор Комлев наделен каким-то особенным даром побудчика памяти, то есть совести — коллективной и персональной... Когда он приходит ко мне и рассказывает — без нажима, без пафоса, буднично, деловито — о том, как искал в лесу на месте бывшего поселка Южная Самарка братскую (правильнее было бы сказать — сестринскую) могилу девушек-лесорубов, погибших под фашистскими снарядами, как нашел ее... Тут я чувствую в себе исходящую от этого человека энергию совести. Что-то такое просыпается во мне, я бросаю мои вечно текущие дела и мчусь куда-нибудь в Ириновку, в Борисову Гриву, в Южную Самарку, которой ныне нет...

Результатами своих разысканий Виктор Комлев делится на страницах газет, реже — журналов. Ему отзываются новые, невыявленные ветераны блокадных лесозаготовок, идут к Комлеву письма, он пишет ответы, завязывается переписка. Каждое письмо — не только страничка чьей-то личной судьбы, но и факт истории, частица летописи героической эпопеи Ленинграда. Комлев работает на историю, собирает материалы для книги, нимало не претендуя на авторство, не хлопоча о каком бы то ни было месте в истории для собственной персоны. Вознаграждением ему служит радость ленинградских женщин, обретших под старость однополчанок своей

молодости и веру в то, что их подвиг в прифронтовом лесу не канул в бездну забвения.

В одном из очерков блокадной поры Всеволод Вишневский писал: «Комсомольцы в ту зиму пошли в снега и леса, и город увидел картины, описанные Николаем Островским, только еще тяжелее, еще суровее была работа комсомольцев-заготовителей».

Одна из встреч блокадных женщин-лесорубов произошла в редакции «Авроры». Как и все другие встречи, ее подготовил Виктор Комлев. Самым трогательным было узнавание друг друга теми, кто не видался тридцать пять и более лет. Некоторые из них, пройдя школу лесорубов в кольце блокады, после прорыва в сорок третьем году были отправлены в тихвинские леса...

Все-таки до чего хорошо сохранились эти женщины — всем им близко к шестидесяти, но они полны сил, чувства их не остыли, большинство из них по-прежнему работает. Каждая прожила свою жизнь, но есть что-то в них общее: все они — сильные женщины, они в своей юности делали такую работу, какая по плечу только сильным мужчинам, и это осталось с ними, в них. В сорок втором году они получили знамя Государственного Комитета Оборона за перевыполнение норм на лесозаготовках, их выработка в лесу превзошла считавшуюся до того наивысшей выработку архангельских лесорубов. Это очень сильные женщины, обладающие каким-то особым спокойствием силы...

Виктор Комлев предоставляет слово каждой явившейся сюда, на встречу. Вначале припоминают тех, кто погиб в Южной Самарке. Найденная могила — бугор под березой — все еще безымянна... Называют имена: Родионова Тамара, Нозикова Анна, Громова Валентина, Степанова Шура...

Я сижу в сторонке, записываю, что слышу. Стараюсь успеть записать. Все это — единственное, вот здесь, на глазах, рождающееся, живое.

Подымается женщина. Комлев знает ее, представляет тем, кто не знает: **Нина Михайловна Рачковская.**

«...Я работаю на заводе «Металлист». И тогда работала и по сей день... Мы тогда на лесозаготовки на трамвае ехали и пешком шли, по Неве... В бараке нас поселили. Распределили. В тот день, когда обстрел был, мы возвращаемся из лесу, нам солдат говорит: «Ваш дом горит». Мы прибежали, уже сгорел почти. Что особенно помню — нам было жалко, что там хлеб остался, соль, сахарный песок...

Близко снаряд упал, это когда мы в столовой были. Задержались, нам обещали дать компот. И вдруг — снаряд. Что запомнилось мне: я очнулась, рядом какая-то женщина говорит молитвы. Я неверующая, но повторяю за ней... Она такая бедненькая была...

Потом смотрю, Тамара убитая лежит...

Отец и мать у меня умерли в блокаду. Сестра поехала ко мне, ей тринадцать лет, девчонка. Мастер говорит: будешь собирать черничный и брусничный лист. Потом забыли, что ей тринадцать лет. Звали ее Лида».

Нина Ильинична Комарова:

«Это было 24 мая. Нас на машине грузовой привезли в Самарку. Жили мы тогда на чердаке. И были не восемнадцатилетние девицы, а какие-то обросшие чурки. Я пилила с Мухиной Ольгой,

На погрузке мы не были, только пилили. Работали с какой-то нечеловеческой силой, даже сейчас не верится. Нам давали усиленный паек, шестьсот граммов хлеба. И табак, папиросы — это мы, естественно, получали. У нас в голове ничего не было, кроме работы.

Тот день, когда зная вручали, я хорошо помню: уже трибуна пустая, после всего нам талоны на обед праздничный выдали. В столовой в Южной Самарке помещение маленькое, человек шестнадцать пускали. Я в очереди не стала стоять, пошла к себе на чердак. Тетя Дуся волосы расчесывала, у нее такие большие были волосы. Я вот это помню: тетя Дуся волосы расчесывает, а больше ничего не запомнила. Я очнулась в палатке. Тетя Маруся там была, она уже мертвая. Я вся лежала голая и прикрытая простыней. И вот смотрю, наш секретарь комсомольской организации тоже лежит.

Потом в больнице в Колтушах, и никому не нужна.. (В этом месте Нина Ильинична заплакала.) Вдруг слышу: «Кто из Самарки?» Вижу: Иван Семенович. Он оставляет мне буханку хлеба круглого. Спасибо вам, Иван Семенович!»

Иван Семенович Ершов поднялся, подошел к Нине Ильиничне, они обнялись, поцеловались, и оба заплакали. И я тоже еле сдерживаю слезу. Я помню Ивана Семеновича. В послевоенные годы он бывал у нас дома, они дружили с моим отцом.

«Из распределительного госпиталя, — продолжала Нина Ильинична, — я попала в Куйбышевскую больницу. А потом у меня рука не действовала. Ну что же, без правой руки... Височное ранение... А потом уже все. Я уже на лесозаготовки не вернулась. И вся моя эпопея кончилась».

Зинаида Михайловна Темкина:

«Я в Самарке с мамой жила. И в городе с мамой и здесь на лесозаготовках... Какой с меня лесоруб? Бревно-то — во! Я и не знала, как к нему подойти. А надо. За перевыполнение нормы давали девятьсот граммов хлеба. Хотелось заработать».

Болела я сильно, считали, что у меня тиф, а потом говорят «У вас же голодный понос...»

И мастер у нас был хороший, Шорохов Федор Сергеевич. Он по специальности химик. Мы с ним, бывало, сидим на поленнице, решаем задачки по химии. Я химию в школе любила.

А помните, девочки, рисовую кашу? Почему-то мне очень запомнилась рисовая каша..

Как обстрел начался, мы с Ниной Дыбковой куда-то по лестнице бежали. У нас еще эстонки работали: тетя Альма и девочка у нее. Я помню, что эта девочка лежала черная, а она сидела около нее..

Потом мы жили в палатках».

Мария Егоровна Андреева:

«Я со второго колбасного, поздоровее была других. Мне было семнадцать с половиной лет. Нас привезли прямо в Южную Самарку, в палатку, елки там подстелены. Меня на погрузку поставили. Мы грузили двенадцатиметровые сосны, блиндажи военные из них строили. И шофера у нас были военные ребята».

Я работала с Исаковым Толей, шофером. Не знаю, жив он сейчас или нет, — он был гораздо постарше меня. Говорил мне: «Давай жениться». А я ему: «Ой, что ты, сейчас война, блокада, какая женитьба! Вот после войны я в город вернусь, там себе мужа найду».

Он со мной всегда ласковый был и помогал и старался как лучше. Он с другим, тоже военным шофером соревновался, никогда ему не уступал. Тот десять рейсов сделает, а Толя мне говорит: «Давай, Маша, мы двенадцать». И делали. Когда он не в духе бывал, девчонки мне говорят: «Ты, Маша, иди, он тебя послушает». Однажды машина у него села, он под колесом копается, злой, а комары на него тучей налетели. Кто-то из девчонок сунулся к нему помочь, с веточкой; он на нее рывкнул. Девчонки мне: «Ты иди». Я веточку березовую взяла и вот от него комаров отмахиваю. Он посмотрел на меня и ничего не сказал.

А мы все до того обносились, у нас юбочки на одной смоле держались. Ватные брюки и ватники нам давали, а больше ничего. После, когда блокаду прорвали, нас уже в Тихвин увезли, там начальником лесопункта был Володин. И у нас такая частушка была:

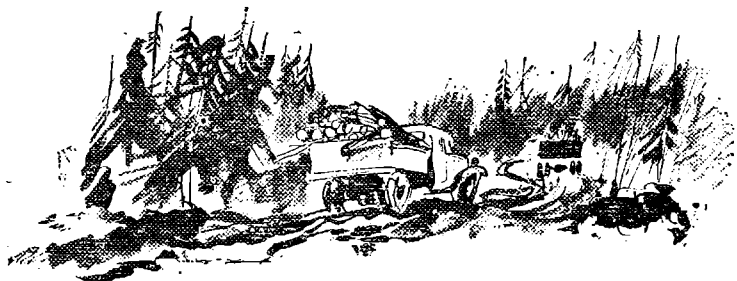
Мы к Володину ходили,
В Ленинград просились.
Отпусти, Володин, в город —
Юбки изнасились.

Я все три года четыре месяца работала в лесу на погрузке, до сорок пятого года.

Когда наш Невский лесопункт знаменем наградили, помню, мы поехали в Зиновьево. Потом вернулись, мы тогда в землянке жили. Вот я взяла судочек, в столовую пошла за обедом. Тут первый снаряд взорвался, дверь в землянку взрывной волной открыло. Я упала и поползла, и кто-то на меня упал, никак мне не скинуть. Когда я ее свалила с себя, она оказалась раненая, правда, не очень тяжело. Ее в госпиталь свезли, после она вернулась, работала.

Фронт тут был рядом. Они в нас и пулями стреляли. Мы по машинам садимся, а они: пук-пук-пук. У нашей с Толей машины весь капот был в дырках. А когда первый раз бомбили, я увидела, бомба летит, красивая, на солнышке блестит. Я так и заорала: «Ой, смотрите, какая красивая». Меня мастер вот так за волосы схватил и носом в землю...

Как бы ни было нам тяжело, мы всегда пели, на работу идем — поем, и с работы усталые, чуть на ногах держимся, а фасон держали. Говорят, что вот наша юность пропала. А мы тогда, что называется, полной мерой жили. Все было. И любовь была! Я помню, нам солдат прислали помогать на погрузке. И один у них такой красавец, чуб у него чернявый, во рту золотой зуб. Вот мы с дез-



чонками приуныли. Ой, говорим, девоньки, он обязательно на Зину Темкину клюнет. У Зины ресницы такие густые, и глаза, и телосложение, ну, в общем, правильное — красивая девушка. А после мы их к себе привадили, солдатиков-то, они вместе с нами грузили. Когда интерес есть — и работается лучше. А как же!»

Анна Петровна Никитина:

«Мы не ощущали трудностей. Мы знали, что надо показать работу. Денег нам мало платили, нам они и не нужны, только за питание рассчитывала нас бухгалтер, а остальное все шло в фонд обороны. И выработку у нас никто не считал — работали каждая сколько могла. Мы пилили на нет, пеньков не было. На метровку разделявали. И стрелять на себе нужно... В землянках — возвращаемся из лесу — вода... И чтобы кто пожаловался!.. И никто не болел. И эгоистов не было. Добрее были.

Из обстрела, я помню, Шуру Степанову на проволоку забросило. Она висела на проволоке, кричала: «Дайте смерти...» После обстрела мы лучше узнали друг друга. Пережить такое — и на второй день опять с пилами в лес...

А в сорок третьем году Попков нам вручил медали «За оборону Ленинграда».

Валентина Ильинична Новикова:

«Нас человек семьдесят шло по льду, 31 марта. И всех потом в одну баню сушить. А банька маленькая, деревенская. Сесть негде было. Нам дали фуфайки, резиновые сапоги. У меня размер тридцать четыре, а мне дали один сапог сорок три, другой сорок один.

Первое время я была опухшая. Я просто падала в лесу. Не могла привыкнуть к лесному воздуху. Врач говорит, поезжайте обратно в Ленинград.

Добралась кое-как в Ленинград, там мне говорят: «Ты дорогу знаешь». Дали мне группу — веди, говорят.

Пришла в лес, а мне: «Новикова, опять ты?..»

Помню, суп разбавляла, чтобы больше получилось. Тогда уже меня посадили считать зарплату.

Как сейчас вижу: очередь выстроилась за обедом человек триста. И тут он нас начал обстреливать. Мы сначала выстрел слышали, а потом уже взрыв снаряда. Я хорошо помню девочку-эстонку, она лежит вся распластанная. И помню, военный ехал на лошади, и его и лошадь разорвало.

А мы сначала под лавку залезли, потом катились, катились куда-то. Только мы из землянки выкатились, он как дал прямо в эту землянку».

Алевтина Эдуардовна Сидоршина:

«Я в Южной Самарке и жила. Когда обстрел начался, слышу, снаряд летит. Легла. Очнулась, вся левая сторона у меня отнялась. Я кое-как в дзот залезла. На последней машине меня повезли в госпиталь. Очень тяжелое ранение вот сюда в левую руку, и в бок, и в позвоночник, и в желудок. Осколками меня всю осыпало. Вот Иван Семенович, спасибо, ко мне в Колтуши приходили в госпиталь... Это полевой госпиталь. Оттуда меня в Невскую лавру в госпиталь, потом на Греческий в больницу. Потом я была еще на горфопредприятии».

Иван Семенович Ершов:

«Я хочу внести ясность. Выше Володарского моста движения не было по Неве. Работали они в двух километрах от линии фронта. И армейские, и флотские землянки тут же были.

23 августа нам вручали знамя Государственного Комитета Обороны. Вручал его летчик Герой Советского Союза Преображенский, он первым бомбил Берлин...

У нас на участках — в Южной Самарке, Овцыно, Питомнике, Невском лесопарке — работало около двух тысяч человек. Все и приехали, и еще по двести человек с Токсовского, Ириновского участков. И мы решили устроить праздничный обед. Из Южной Самарки приехало около четырехсот человек.

Знамя ГКО мы получили и еще премию семьсот тысяч рублей. По сто тысяч мы положили на подсобное хозяйство и культурно-приятя. Но вообще-то все эти дела сводились у нас к минимуму: мы же у самого фронта. В общем, каждый получил что-либо из премии, мы старались ее справедливо распределить. Знамя мы продержали два месяца.

Это август — сентябрь, а создали наш Невский лесопункт в апреле сорок второго. Я был назначен начальником лесопункта. И знаете, мы работу там развернули быстро. Кадры наши — женщины, от семнадцати и так лет до тридцати пяти. Мужчин у нас было не более семи процентов. Мужчины-блокадники были более дохлые, труднее восстанавливали здоровье. Лучком работали по двое, но норму мы давали два и шесть десятых кубометра на человека, а когда дело пошло, некоторые выдавали до пяти кубометров.

Каждый день мы возили лес на Мяглово. Лесозаготовители очень много дали Ленинграду. Пятая ГЭС работала на базе Невского мехлесопункта. «Ленинградская правда» в блокаду не выходила без информации о делах в лесу. В сорок третьем году был лозунг: «Самая почетная профессия у нас — лесоруб!»

Мария Александровна Ковалева:

«Я была самая старая — двадцать три года. Я была во здоровая деваха, с хлебозавода...»

Василий Степанович Малкин:

«Первая лесозаготовительная контора была организована в октябре сорок первого года в Борисовой Гриве — Всеволожская ЛЗК. Директором был назначен инженер Близначев, меня назначили главным механиком конторы. Механизация состояла в основном из восьми газогенераторных машин. Потом я принимал машины в Ленинграде, их стало до тридцати штук. Машины стояли на улице, бензин для запуска некачественный, газочурка сырая, да и той недостаточно. А потом и бензина для запуска не стало. Мне вместо бензина прислали пихтовое масло. Запуск на этом масле, при двадцати пяти — тридцати градусах мороза, даже и с большим подогревом системы питания и картера, даже через буксир, и то почти никогда не удавался. А машины надо посылать в лес. Ленинград без топлива.

Я вставал в четыре часа утра, шел в общежитие к шоферам, подымал их на работу. И часов в семь начиналось самое страшное — заводка автомашин; шоферы мерзли, я тоже, но надо за-

вести; я ложился на крыло и регулировал карбюратор, а двое крутили за ручку. И если удавалось завести первую машину, остальные таскали буксиром, иногда последнюю заводили часов в двенадцать. И так каждый день. Такую технологию заводки нужно было изменить, и мы стали оставлять на всю ночь две дежурные машины «под парами». Но и это нас не спасало. Шоферы от недостатка питания быстро замерзали, особенно руки, и уходили к печке в контору. Вот я и крутился, хотя сам был уже близок к дистрофии, начал опухать. Рабочий день был одиннадцать часов всюду.

Станция Борисова Грива была конечным пунктом сообщения из Ленинграда к Ладожскому озеру. Ленинградцев усиленно эвакуировали, люди направлялись на ту сторону озера и зачастую в дороге умирали. Их, умерших, оставляли там, где кто умер, а живые двигались дальше. Сбор и перевозка трупов были возложены на нашу колонну. Нужно было каждую ночь направлять две автомашины для перевозки трупов из района Борисовой Гривы к кладбищу у поселка Ириновка. Днем все машины отправлялись в лес. За ночную работу давали дополнительный обед и четыреста граммов так называемого хлеба. В хлебе было тридцать процентов муки, а остальное отруби, мучная пыль, древесная кора, которую заготавливали мы же».

Еду в Ириновку по Дороге жизни, километры на этой дороге обозначены памятными столбами. Дорога с холма на холм, листовенные леса расцвечены сентябрем.

В Ириновском клубе собралось лесное воинство — седовласые женщины, ветераны. Это они валили деревья, распиливали их, тащили чурки на саночках к дороге, соскабливали с сосен кору для хлеба, грузили на машины заколоченных в пути своих сестер и братьев по блокадной беде. Работа в лесу, как бы ни была она тяжела и горька, спасла им жизнь, оставила в душах чувство исполненного долга перед людьми.

Сижу, слушаю ветеранов лесного фронта...

«Ириновка может гордиться тем, что в ней живут лесорубы тех лет...»

«К нам приезжали корреспонденты. И один, помню, спрашивает: «Как вы собираетесь увеличить выработку?» Но это было стыдно слушать. У нас было полное перенапряжение. Каждый мускул... Мы трудились беззаветно. В лес ехали, обратно шли пешком десять километров. Всегда хотели есть, хотели спать. Делали все возможное, даже невозможное. Сейчас нельзя так работать...»

«Пришли на делянку, показали нам технику безопасности. Дали нам двухручки — лучковых тогда не было. Я взяла топор на плечо... Мастер наш, Лебедев, на меня посмотрел, говорит: «У меня штук двенадцать таких дистрофиков». Прошло время, и у нас появились силы. От овсяной каши. Это была такая радость — горячий суп. Некоторые ехали такие старухи... И мы опять стали девушками, по двенадцать кубометров давали».

«Я был пацаном. Нам с братом было тридцать лет на двоих. В первую очередь шли работать на лошадях. Вы рубили, а мы возили. У нас бригада была сколотивши прекрасно. И мне, молодому, шестнадцати лет мальчишке доверили эту бригаду. Была, как бы говорится, военная демократия. Все жили мирно, хорошо, никто не ругался...»

Поздней осенью мы с Виктором Комлевым поехали в Южную Самарку — вдоль Невы, правым ее берегом, навстречу току похолодевшей, потяжелевшей невской, то есть ладожской, воды. В поселке кирпичного завода имени Свердлова свернули налево, обогнули сельское кладбище. Кругом было ровное низкое место, все занятое прямоугольными бассейнами, наполненными голубоватой, будто подкрашенной водой. Тут брали глину для кирпича. Карьеры и превратились в бассейны. Подсевший к нам в поселке председатель Свердловского сельсовета Леонтий Кириллович Федюкович объяснил, что бассейны проточные, подлежат зарыблению. Дорога шла перешейком между бассейнами, близко к воде, тут и там виднелись прилаженные к берегам здешними мальчишками трамплинчики для ныряния в эту, должно быть, и летом студеную голубизну.

Потом мы въехали в лес — березовый, осиновый, ольховый, еще повернули влево и оказались на большой поляне, которой, судя по всему, тоже в недалеком будущем предстояло стать лесом. Фундаменты бывших здесь когда-то строений заросли березками и кустами бузины, неизвестно откуда появляющейся рядом с человеческим жильем.

— Здесь, — сказал Виктор Комлев, и председатель сельсовета подтвердил: — Здесь.

Свидетельницей жизни и смерти Южной Самарки могла быть разве что только старая, треснувшая вдоль ствола береза. Под березой и был насыпан могильный холмик. Весной Виктор Комлев его насыпал и разровнял, укрыл еловыми лапами, благо ельники, возросшие под пологом лиственного леса, густо, молодо щетинились вокруг.

Мы постояли над могилой, Виктор Комлев опять вспоминал, как сестры Ждановские (теперь одна из них — Максимова, другая — Полонейчик) привели его к этому месту, как он взял лопату, стал копать...

Один конец кумачового полотнища мы прибили к старой березе, другой — к молодой. Полотнище привез с собой Виктор Комлев, на нем написано было: «Здесь похоронены героические защитницы Ленинграда, погибшие 23 августа 1942 года». Звук от удара молотком по гвоздю двоился, троился — как будто настоявшаяся тут с войны тишина обрела плотность и звонкость металла, и звук отскакивал от нее...

Прикинули, как поставить оградку, какой лучше сделать памятник и кто его будет делать... «Ленлес», конечно, — кто же еще?

И поехали дальше вверх по Неве, в деревню Островки, к сестрам Ждановским.

Островки — большое село, выстроенное на уступах высокого в этом месте правого берега Невы. Сошли по откосу к воде. За довольно-таки широкой протокой был виден остров, на нем дома рыбобразводного завода, за островом опять Нева, на том берегу станция Понтонная. Мы помахали руками, и вскоре от острова отвалила лодка. На веслах сидела одна из сестер Ждановских (Максимова или Полонейчик — они так похожи, что я еще не могу их отличить одну от другой).

Сестры нам показали свой рыбозавод: икринки в ванночках, мальки, крохотные лососи, подростки, годовалые. Самые крупные рыбы — на стендах в музее.

«Завод» — это громко сказано: едва ли выпускаемые в Неву

лососки заметно пополняют балтийское стадо лосося. Однако люди подолгу работают на заводе, преданы своему делу, крепко сдружились, живя на острове; даже за хлебушком в магазин им надо плыть за стрежень Невы, в Понтонную, а Нева тут, возле Ивановских порогов, быстра, и движение по Неве разве чуть меньше, чем на Невском проспекте...

10 мая «Ленлес» дал автобус, Виктор Комлев — вся грудь в медалях и значках, как положено ветерану, — сел рядом с шофером, показывал путь. В автобусе было еще трое мужчин, остальные все — женщины. Одного из мужчин я видел в День работников леса в Ириновке. Это Виктор Михайлов, знатный лесоруб сорок второго года. На лацкане его пиджака особенно заметна медаль Ушакова, такая же, как у Виктора Комлева. Может быть, они вместе ушли из леса во флот.

Двое других мужчин пока что суровы и молчаливы. Потом, у могилы в Южной Самарке, они о себе расскажут. Один воевал на Ладожской флотилии, другой брал Берлин и Прагу. Оба едут в Южную Самарку вместе с женами; жены их — ветераны лесного фронта...

Никто из приехавших в Южной Самарке с войны не бывал. Выйдя из автобуса, женщины озирались, что-то узнавали, вспоминали. Комлев привел их к могиле. Вокруг могилы сияла своей новизной чугунная ограда. У подножия могильного холма установлена гранитная плита с подобающими, к месту словами. Кто похоронен тут, известно пока лишь отчасти...

Мужчины наломали еловых веток, устлали могильный холм. Поверх хвои женщины положили тюльпаны, гвоздики, нарциссы. Небо в этот день было по-весеннему высокое. Пели птицы. Когда мы принялись прибывать к березам еще один стяг, поверх того, который сохранился с осени, руки нам окропило березовым соком.

Приехал председатель Свердловского сельсовета Леонтий Кириллович Федюкович. Весь вид его выражал удовлетворенность и даже законную гордость за содеянное им доброе дело — вот эту ограду и памятную плиту.



Начинается митинг в Южной Самарке; такого населенного пункта нет на картах, но даже и на местности почти не осталось следов. Митинг под березами, у еще одной военной могилы, в тридцать пятую годовщину Победы, через тридцать восемь лет после гибели погребенных под этим холмом.

Первое слово Нине Михайловне Рачковской. Я уже слышал ее, и говорит она все о том же. Но слова у нее в душе рождаются будто впервые. Им трудно выйти наружу, потому что горло у Нины Михайловны перехвачено волнением. Очень ветренный день сегодня, ветер выжимает слезу из глаз.

— Здесь лежит Тамара Родионова, — тихо говорит Нина Михайловна. — Ей было двадцать два года. Мы с ней пилили... Говорят, что мы хорошо работали. Но работа тогда и была всей нашей жизнью. Мы вроде бы и не работали, а просто так жили. Говорят, мы давали две нормы, а мы и не знали, какие нормы, просто работали.

А двадцать третьего августа поехали мы получать знамя. Тамаре нечего было надеть. У нее, кроме фуфайки, ничего не было. Я ей дала платье моей матери. Мама мне его дала, когда я в лес ехала, а сама она умерла в блокаде.

Обстрел начался страшный. Я легла на землю, по мне бежали люди. Когда все кончилось, я стала искать Тамару. Мне мастер Нестеров говорит, что Тамару ранило, и он отправил ее в Ленинград. А потом по платью я узнала Тамару — она лежала там, куда сносили убитых. Я говорю мастеру: «Что же ты?» А он ничего не ответил. И потом ее зарыли. А меня уже не подпустили к могилке. Я была сама не своя. Это же были хорошие люди, они не видели жизни. Но мы давали чуть-чуть тепла нашему городу. И было бы очень несправедливо, если бы их забыли...

Пионеры читают стихи, и голоса у них такие же искренние, как голоса птиц.

Расстилают на лужку скатерть, делятся друг с другом кто чем богат.

Договариваются приехать сюда 23 августа. И приедут. И будет памятник на могиле. И елки вымахают повыше берез и осин, и лиственный лес превратится в лес хвойный. Таким он и был, когда его пилили лежащие вот под этим холмом ленинградские девушки.

На обратной дороге наш автобус становится поющим автобусом. Голоса ни у кого не осипли, не осели, не пропали, слова песен той поры не забылись. «Эх, Ладога, родная Ладога! Метель, и шторм, и бурная волна. Недаром Ладога родная Дорогой жизни названа!» — поют ветераны блокадных лесозаготовок. Им подпевают ветеран Ладожской флотилии и ветеран пехоты — он брал Берлин.

Между прочим, паровозы на Дороге жизни, от Ленинграда до Борисовой Гривы, работали на дровах, напиленных вот в этих лесах под Ириновкой и под Южной Самаркой, руками вот этих лесорубов, которые сейчас поют, счастливые тем, что юность их не пропала.

Всматриваясь в классику

В центре Ленинграда, недалеко от Дома книги, живет известный литературовед Борис Иванович Бурсов. Один ленинградский писатель как-то сказал: «Я не кончал университета, не получил гуманитарного образования. Своим университетом я считаю Бурсова...» Многие литераторы ходят в гостеприимный дом Бурсовых, особенно молодые. В самом деле: Бориса Ивановича можно слушать часами. Это всегда монолог о самом для него главном в мире, самом важном, никогда не теряющем своей ценности: монолог о литературе и ее творцах.

— Жизнь в основном прожита, — говорит Бурсов. — И теперь, с «высоты» возраста, особенно ясно, что русские классики писали о самом важном. Главная особенность и притягательная сила русской литературы, на мой взгляд, в том, что она занята человеком, самой его природой. Великие русские писатели не только открывали социальные и национальные различия своих героев, они всегда шли дальше, добирались до душевной сердцевины, пробивались к человеческой сути...

Достоевский задумывался над тем, можно ли проследить влияние, которое оказывает искусство, понять, что происходит с человеком от общения с великим произведением. Вот, к примеру, некто увидел Аполлона Бельведерского, смотрел на

него двадцать минут. Прошло двадцать лет. Человек совершил подвиг. Участвует ли в этом Аполлон Бельведерский? Как можно это учесть?

Задача наша не в вычислении «полезного коэффициента», извлекаемого из данного шедевра, а в обнаружении в нем сверхвозможности, заложенной не в одном только гении — в каждом человеке. Хотя именно в гениях она особенно осязательна. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», — воскликнул Пушкин, прочитав только что законченного «Бориса Годунова». Дух захватывает от этих слов. По Достоевскому, «человек есть тайна», но я бы добавил — и чудо. Приближаясь к чуду творения человеческого духа, мы и в самих себе находим родство с чудом. В этом истинная прелесть нашей трудной профессии.

Путь Б. И. Бурсова в литературоведение не был легким. Вот как он сам об этом рассказывает:

— Я вырос в деревне. Отец мой не умел ни читать, ни писать, так что семья не могла привить любовь к литературе, направить мою жизнь именно в это русло. Влияли другие. В деревне жил тогда глубокий старик по прозвищу Болгарин. По-видимому, будучи молодым, он участвовал в русско-турецкой войне, освобождал Болгарию. Дед этот не только был грамот-

ным, но имел целый шкаф с книгами. Лишь много лет спустя я осознал, что именно попало мне в том заветном шкафу — статьи Белинского о Пушкине! Я, разумеется, ничего в них не понял, скорее всего сразу пропустил все, кроме... стихов. Пушкинские строфы я выуживал из текста и сразу запоминал. И, надо сказать, запомнил на всю жизнь. Именно по этим цитатам я «вычислил» потом, с чего же началось мое чтение... Стихи изумили своей красотой. Это было первое потрясение от литературы. Может быть, тогда и появилась еще не осознанная, никак не оформленная тяга к красоте, которую дарили книги.

Пушкинские стихи открыли мне мир особой красоты, мысли, знания. Они как бы указали путь — к книгам...

...Так Б. И. Бурсов стал читать. Но и тогда, когда чтение стало сознательным, самое большое впечатление на него произвел снова Пушкин своей «Капитанской дочкой». Она до сих пор поражает Бориса Ивановича необыкновенной динамичностью, мгновенными решениями героев, неожиданными поворотами в их судьбах. А еще — благородством поступков пушкинских героев. Одной из самых любимых книг на всю жизнь стало и «Путешествие в Арзрум», где благородство человеческой души слито в нераздельное целое с высотой помыслов и свободой поступков, — и никакого построения, одно только строение.

Никогда не стремился Борис Иванович сам писать прозу или стихи. Все сильнее хотелось изучать саму литературу, понять ее. Поиски духовности вели к книге. Разумеется, и кино, и театр, и живопись несли радость, но с годами все больше укреп-

лялось сознание, что только в литературе есть то, чего не найти больше нигде: именно она обладает необычайными возможностями проникновения в человеческую душу.

Больше полувека назад он ушел из деревни. Сначала был рабфак. По окончании его Бурсов поступил на литературный факультет Московского университета. Аспирантуру он закончил в Ленинграде, в тогдашнем исследовательском секторе Института театра, музыки и кинематографии.

Началась война, и Борис Иванович ушел на фронт. Был военным корреспондентом, агитатором полка. После войны вернулся к своим занятиям. Защитил докторскую диссертацию. Стал профессором.

Главным его интересом навсегда осталось постижение классики, углубление в механизм художнического мышления писателя.

— Я очень люблю античную литературу, — рассказывает Борис Иванович. — С удовольствием читаю древних и позднейших знаменитых авторов: Софокла, Еврипида, Геродота, Ксенофонта, Сенеку, Плутарха, Маккиавелли, великолепную прозу Петрарки. Сейчас перечитываю Эсхила — он волнует меня настоящим. Один из самых любимых авторов — Тацит. Я восхищаюсь им и с восхищением читаю, как Пушкин с ним спорил, — не потому, что лучше знал то, чему свидетелем был Тацит, а потому, что, если воспользоваться словами Толстого, впитал в свой ум и свою душу опыт «лучших душ и умов человечества по разрешению вопросов жизни...», друг друга обогащающих и наставляющих.

Увлечение античными авторами началось давно. Много лет назад я был вхож в дом Андриана Ивановича Пиотровского —

человека огромной культуры, энциклопедиста. Его жена устраивала вечера, где читались переводы произведений античных авторов. В античности что самое главное! Человек перед лицом мира, у Пушкина — тоже. Не знаю более прекрасного человека, чем пушкинский. Пушкин сближал меня с античностью, античность углубляла представление о Пушкине.

...Но это все было чтение, не связанное непосредственно с работой. Предмет занятий Бурсова — русская классика. Он автор доброго десятка крупнейших исследований. Им написаны книги о Чернышевском, Горьком, Толстом, Достоевском, о реализме, о критике как литературе и другие.

В школьных учебниках, считает Бурсов, может быть и необходим пересказ произведений, их популярный анализ. Но на высоком уровне изучения литературы пересказ произведения теряет смысл. Тут на первый план выходит сам творец, его личность и судьба.

— Когда я работал над книгами о творчестве Толстого, — поясняет Бурсов, — я все время «упирался» в то, что многое остается недосказанным, невысказанным. Пропадало что-то важное. Что-то вызывало неудовлетворенность. Чего же хотелось? А хотелось мне контакта с самим писателем как с живой личностью. Я понял это благодаря Толстому. Сблизившись с ним, обрел иную манеру изложения того, что я хотел сказать.

Началось с того, что я заинтересовался вопросом: как Лев Николаевич Толстой пришел в литературу? А он пришел поздно, в 24 года. Тургенев, Некрасов, Достоевский начинали раньше. Пушкин к 24 годам достиг высшей зрелости. Но зато у Толстого не было ученических ве-

щей (даже по сравнению с Пушкиным, лицейские стихи которого мы не можем назвать зрелыми). Откуда же взялся опыт Толстого-писателя? Я «продумал» его дневник. Это были опыты Толстого над своей душой, умом. Эйхенбаум в книге «Молодой Толстой» рассматривает дневник как литературную школу. Я же считаю, что дневник не был сознательным упражнением для выработки литературных приемов, установления литературного мастерства. Это была вещь непосредственная, не заданная. Толстой вырос из дневника как литератор нечаянно. Изучая дневники, я погружался в душу Толстого, познавал его человеческие качества.

Нет ничего более увлекательного. Мы описываем, как пишут великие писатели, а, помоему, надо стараться понять, почему они так пишут. Толстой жаждет самосовершенствования, Достоевский — самоутверждения, Пушкин — самоосуществления. Я счастлив водить с ними компанию.

Лелею надежду быть принятым в их круг, чтобы вместе и наравне с ними обсуждать проблемы, которыми они поглощены.

Книга «Лев Толстой. Идеальные искания и творческий метод 1847—1862 гг.» вышла все же половинчатой. Когда речь заходила о произведениях, Бурсов разбирал их, как было принято в литературоведении тех лет. Но когда писал о личности писателя — предпринял попытку «общения» с ним, спора, диалога.

Эту манеру письма Бурсов развил в следующих своих книгах. Его работа «Личность Достоевского», вышедшая уже вторым изданием, написана в свободной эссеистической манере. Автор вступает в спор с героем, дискутирует с ним. Жанр книги очень точно определен как ро-

ман-исследование. Почему исследование — понятно, но почему — роман! Ведь это литературоведческая работа, казалось бы, не имеющая сюжета. Нет, имеющая! Сюжетная канва здесь, в самом деле, может быть, и необычная — перипетии духа. Здесь, как и подобает роману, — эпопея, личность в ее становлении и развитии, сложные, разкообразные отношения человека и мира.

В библиотеке Бурсова — присланная из Чехословакии «Личность Достоевского» [чешское название «Достоевский и его мир»]. В послесловии к книге говорится, что Бурсов применяет метод «зонда» — глубинного погружения в проблемы и противоречия Достоевского и что исследование написано столь мастеровски, что конгениально книгам самого Достоевского.

Сейчас он занят «Судьбой Пушкина». Работа идет тяжело, много раз передельвается. Исследователь погружен в огромный мир поэта, «расшифровывает» все имена, встречающиеся у Пушкина. Если, например, Пушкин пишет о Деканте или Паскале, Бурсов считает своим долгом прочесть того и другого, чтобы понять, почему поэт пишет о них, почему пишет так, а не иначе. Чтобы сказать о поэте свое, надо проанализировать все его произведения, все связи поэта и мира, все (или во всяком случае главные) книги о нем.

— Для моей работы о Пушкине очень важно понять, была ли фатально неизбежна гибель поэта. Если признать, что гибель была неизбежна, приписать ей фатализм, детерминированность, тогда надо исключить случайность, превратности, волеизъявление личности, ее непокорность судьбе... И вторая сторона дела: что было бы с русской литературой, если бы Пуш-

кин продолжал жить, когда появились Достоевский, Тургенев, Толстой. Что было бы с ним и с ними!

Это чрезвычайно важные вопросы, — продолжает Борис Иванович. — С ним ничего плохого не было бы. Пушкин нашел бы в себе ресурсы [они были неисчерпаемы] и продолжал бы свою линию. Это было бы благоприятно для творчества тех, кто явился после. Наверняка судьба Гоголя сложилась бы по-другому. Пушкин — такая широкая, гибкая натура, он с таким уважением относился к дарованиям, что, конечно же, не пытался бы никого подчинить: слишком широк был сам. Но это только моя гипотеза. Она вмещает в себя и вызов, брошенный Пушкиным самой смерти. Иначе не понять неслыханно трагического напряжения его поэзии, одновременно поэтому и самой человеческой.

Пушкин говорил: «Век может идти вперед, науки, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, — но поэзия остается на одном месте. Цель ее одна, средства те же. И между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другим, — произведения истинных поэтов остаются свежи и вечно юны». Борис Иванович комментирует это так: продукция искусства менее точна, но зато вечна. Наука направлена на познание мира, вне нас лежащего. Искусство познает нас самих и касается вещей более устойчивых: качеств человеческой души и ума, добра и зла, красоты и безобразия, лжи и правды.

Беседу вела
Г. Силина

Вадим Вацуро

«ПРОРОК»

Среди пушкинских стихов, знакомых нам с детства, есть несколько таких, которые принято называть «хрестоматийными». К их числу относится и стихотворение «Пророк». О нем говорят на школьных уроках, его заучивают наизусть, на его текст исполняют знаменитый романс Римского-Корсакова. Оно кажется доступным и легким для понимания.

Между тем легкость эта обманчива. Если мы прочтем его строка за строкой, обращая внимание на обычно ускользающие «мелочи», мы, может быть, убедимся в том, что «Пророк» — стихотворение чрезвычайно трудное, что поэтическая глубина его гораздо большая, чем это кажется на первый взгляд. Образность «Пророка» раскрывается не сразу и требует от современного читателя некоторой подготовки и внимания, а художественная идея его становится более понятной, если мы свяжем «Пророка» с другими стихами Пушкина, более ранними (а иногда и более поздними), и представим себе обстановку, в которой возникло стихотворение.

Именно таким чтением и толкованием его мы теперь и займемся. Задача наша облегчается тем, что о «Пророке» существует большая исследовательская литература: изучают его уже более ста лет. Многие из того, о чем пойдет речь далее, уже было замечено и описано, и мы попытаемся свести эти наблюдения воедино и кое в чем их дополнить.

Начать нам придется издалека.

1

За два года до написания «Пророка», в 1824 году, в михайловской ссылке, Пушкин пишет цикл стихотворений, которые называет «Подражания Корану». В руках у него в это время был русский прозаический перевод этой священной книги мусульман, сделанный русским драматургом и переводчиком М. И. Веревкиным в 1790 году. Веревкин перевел Коран слогом Библии — торжественным, книжным, несколько устаревшим и в то же время наивным и даже грубоватым. Пушкин очень ценил эту особенность библейского языка — он считал, что в нем отразилась простота древних понятий и нравов.

Пушкин обратился к Корану по многим причинам. Сама фигура пророка Магомета, возвещающего через Коран народу волю

аллаха, была для него полна и исторического, и чисто поэтического смысла. Пушкин писал свои «Подражания» как раз в канун декабрьского восстания. Пророк, проповедующий народу слова истины, — излюбленный образ декабристской поэзии. Поэты-декабристы обращались не к Корану, а к Библии, но искали в ней того же: негодующих слов; обличающих сильных мира, князей и земных царей, погрязших в неправде, беззаконии и пороке, пророчеств о грядущем Страшном суде и о восстановлении социальной справедливости. Все это наполнялось для них глубоко современным политическим смыслом. Когда Рылеев впервые прочел в 1825 году третье «Подражание Корану», где изображен Страшный суд, — он пришел в восторг: Пушкин с необыкновенной поэтической силой выразил его собственные мысли.

Но ни Рылеев, ни Ф. Н. Глинка, создавший целый сборник переложений библейских псалмов и книг пророков, не обладали широтой и глубиной пушкинского поэтического мышления. Они видели в Библии материал для иносказаний и лишь облекали в библейские формы современную гражданскую поэзию. К середине 1820-х годов Пушкин сумел увидеть в древних священных книгах — Библии и Коране — и нечто большее: памятник мыслей, чувств и исторического быта людей иной эпохи и иной культуры. Коран говорил ему своим языком о своих понятиях, и в «Подражаниях Корану» Пушкин сделал попытку их воспроизвести. Его пятое «Подражание» начинается словами:

*Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.*

Это — космогония древнего человека, и Пушкин счел нужным сделать к этим строчкам примечание: «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!» «Смелая поэзия», как и «плохая физика», принадлежала другому веку и другой культуре, — Пушкин передавал в своих «Подражаниях» самый строй ее понятий.

В этом заключалось целое открытие, которым Пушкин воспользовался и в «Пророке».

Но «Пророк» был написан не в 1824 году, а двумя годами позже. За эти годы, проведенные в михайловской ссылке, Пушкин успел пережить и восстание декабристов, и разгром его, и казнь и казнь своих товарищей. «Пророк» создается под впечатлением этих событий. Он пишется незадолго до 8 сентября 1826 года, когда Пушкина привозят с фельдъегерем в Москву к новому императору. Есть сведения, что написанное к тому времени стихотворение имело другой вид, но его ранней редакции мы не знаем. Автограф «Пророка» не сохранился, и нам известен только тот его текст, который сам Пушкин напечатал в 1828 году. Этот текст нам и предстоит теперь прочитать.

2

Еще в XIX веке исследователи Пушкина пытались ответить на вопрос: каков непосредственный источник «Пророка»? Было очевидно, что он связан и с пушкинскими «Подражаниями Корану», и с библейскими книгами пророков. В «Книге Исайи» отыскали сцену, где Исайя рассказал о своем видении: он стоял перед

престолѣм бога, вокруг котораго находились серафимы о шести крыльях; один из серафимов взял клещами горящий уголь и прикоснулся к устам пророка, очистив их огнем от скверны. После этого бог посылает Исайю к людям, и он обличает порок и беззакония и возвѣщает грядущий суд. Эта-то «Книга Исайи» и служила постоянным источником образов и тем для гражданских поэтов декабристскаго времени.

Однако пушкинскій «Пророкъ» значительно отклонился от библейскаго текста. В отличие от многих своих современников, поэт воспользовался Библией как своего рода исходным материалом. Его пророкъ не походит ни на Исайю, ни на кого иного из библейских пророков. Как и в «Подражаниях Корану», Пушкин строит самостоятельный образ — в духе источника, но с иным содержанием. Уже в первых строчках сказывается этот новый замысел:

*Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачилсѣ...*

Ни один из библейских пророков не вводится в повествование таким образом.

В 1828 году, составляя план сборника своих стихотворений, Пушкин записал первую строчку в иной редакци: «Великой скорбию томим...» Эта строчка позволяет нам угадать движение его поэтической мысли. Через семь лет он создает стихотворение, начинающееся словами:

*Однажды, странствуя среди долины дикой,
Внезапно был объят я скорбию великой...*

Это стихотворение о страннике, также томимом «духовной жаждой» (оно так и называется «Странник»), написанное от его имени и также проникнутое суровыми библейскими мотивами. В «Пророке» есть уже предвѣстие «Странника», и самый зрительный образ приобретает широкий символическій смысл.

Однако в «Страннике» картина полностью реальна; в «Пророке» дело обстоит несколько иначе. И здѣсь нам нужно несколько отвлечься в сторону и заняться вопросом о сущности поэтическаго слова в интересующем нас стихотворении.

3

В «Пророке» Пушкин широко пользуется словами и оборотами Библии.

«Влачилсѣ», «персты», «зеницы», «отверзлись», «десница», «внялъ», «горный», «прозябанье»... Все это слова книжные, устарѣвшие для общаго и даже литературнаго языка пушкинскаго времени. Ими пользовалась торжественная, «высокая» поэзия. Они составляли особую сферу поэтическаго языка, куда они когда-то пришли из церковных книг. Церковные же книги были переведены не на русскій язык, а на старославянскій — один из диалектов древнеболгарскаго языка, близкаго, но не тождественнаго древнерусскому. По мере того как развивался русскій литературный язык, он усваивал старославянскіе формы, и они оставались в языке наряду с исконно русскими, образуя пары слов, отличающихся по стилистической окраске и нередко — по значению. «Перст», «зеницы», «десница» имеют в русском языке точные си-

18
нонимы: «палец», «глаза», «правая рука». Их отличает только принадлежность к «высокому», книжному стилю. Зато слово «влачить», «влачиться», например, разошлось в значении со своей русской парой — «волочить», «волочиться». Оно получило более общее, более абстрактное значение. Можно «влачить» (но не «волочить») дни, но ноги — только «волочить». Если мы сравним выражения «влачить время» и «волочить груз», мы сразу ощутим эту разницу, хотя первоначальный смысл слов был одинаков.

Эта смысловая разница между словом старославянским и русским была отлично известна Пушкину. И вместе с тем он знал, что первоначально старославянское, библейское слово также было конкретно и что его первичное значение постоянно брезжит, пробивается сквозь то, которое было приобретено впоследствии, за время исторического развития русского языка. Это первичное значение можно усилить, оживить, подчеркнуть, вызвав у читателя нужные ассоциации. И Пушкин с необычайной тонкостью использует эти двойные значения слов уже в первых строчках «Пророка». Что значит «духовная жажда»? Это переносное, метафорическое выражение, означающее «поиски истины». «Влачиться» может значить «вести томительное существование». «Пустыня мрачная» также может быть понята как аллегорический образ — «пустыня бытия», бесплодная жизнь. И вместе с тем «влачиться» — в первичном значении «тащиться», пустыня есть пустыня, и даже в метафоре «духовная жажда» оживает для нас первичное значение второго слова — «жажда». Две сферы поэтических представлений — более общая и более частная — как бы накладываются друг на друга, и создается поэтический образ и с прямым, и с переносным значением.

*И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.*

Это «перепутье» опять двойственно: оно означает и «перекресток путей», и положение человека, колеблющегося в выборе пути, заблудившегося. Самый образ шестикрылого серафима является перед нами как бы на грани реальности и аллегории; его зыбкость, бесплотность словно подчеркивается строчками:

*Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он...*

Но далее следует совершенно конкретное:

*Отверзлись, вещи зеницы,
Как у испуганной орлицы.*

Правда, первая строчка — тоже метафора. У странника не просто «отверзлись зеницы» — «открылись глаза» (они и не были закрыты), а открылись глаза на что-то, на мир, которого он раньше не видел. Отсюда эпитет «вещие» — мудрые.

И вместе с тем сравнение «как у испуганной орлицы» оживает в метафоре ее конкретную, чувственную основу. В эпитете «испуганная» — внешние, зрительные признаки: это действительно глаза широко открытые, настороженные, напряженно всматривающиеся, полные страха от внезапно совершившегося изменения и неожиданно открывшегося мира — преображенного и незнакомого. Глаз орла — символ зоркости. «Испуганный орел» был бы образом сниженным, почти комическим, — и Пушкин заменяет «орла» «орлицей».

Мы говорим: Пушкин заменяет — потому, что ему принадлежит весь художественный замысел. И вместе с тем речь идет не от его лица. Нам нужно вспомнить теперь, что повествование ведется от лица Пророка, и именно ему вложено в уста это сравнение. Но как и почему оно могло появиться? Ведь Пророк не рассуждает, а рассказывает, сравнивает неизвестное с известным, объясняет непонятное через понятное. Откуда известно ему выражение глаз «испуганной орлицы»?

Можно было бы предположить, что знание это — есть то сверхъестественное знание, которым Пророк уже наделен к моменту рассказа. Однако вряд ли это так: уж слишком эпичен, наивен и бесхитростен этот рассказ. И «испуганная орлица» вполне ему соответствует. Пророк — человек не европейского и не современного жизненного опыта. Это древний человек, живущий среди природы, охотник и «стихийный натуралист». Именно так, изнутри, создается его образ — как двумя годами ранее Пушкин делал в «Подражаниях Корану». И далее:

*Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон;
И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.*

Здесь — нарисованная с поразительным мастерством картина мира как он представляется наивному, первобытному сознанию. В этом мире нет сверхъестественного, ангелы в нем — такая же реальность, как птицы, они населяют небо. В воде обитают морские «чудовища», на земле растет лоза. Пушкин создает своего Пророка по образцу библейских, но в этих последних он, кажется, впервые в русской литературе обнаруживает поражающую черту: они бесхитросты и наивны, они рассказывают свои видения с подкупающим простодушием. Так Исайя описывает шестикрылых серафимов, которые двумя крыльями покрывают лицо, двумя ноги, а двумя летают. И пушкинский Пророк с легким изумлением повествует о том, какой «шум и звон» услышал он от содрогания неба, — но ни малейших следов удивления не обнаруживает он, встретив на перепутье шестикрылого серафима. Чудо — это повседневность, реальность; чтобы встретиться с ним, нужны лишь очень обостренные зрение и слух.

Слух здесь имеет особое значение. Мир раскрывается перед Пророком не в красках, а в звуках. Полет ангелов, прорастание лозы, звон «содроганьющегося» небесного свода — а для него, как и для Магомета в «Подражаниях Корану», небо — твердый купол, покрывающий неподвижную землю, — все это он не видит, а слышит. Это не случайно. Звуки природы — это ее язык, и во многих стихах пушкинского времени мы можем найти это поэтическое представление о голосах природы. Они таинственны, и для понимания их нужна сверхчеловеческая мудрость. «Внял я неба содроганье...» «Внял» означает «услышал», но вместе с тем и «усвоил», «понял». Итак, второй дар серафима — больше первого, он ставит Пророка на более высокую ступень мудрости. В стихотворении происходит нарастание энергии, создается «возрастающая градация».

Третий дар еще более драгоценен — он превращает мудреца в

пророка. Мудрецу достаточно созерцания и понимания, пророку нужна вдохновенная речь. Но третий дар — дар прсридания — мучителен:

*И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.*

Итак, прикосновения серафима тоже ужесточаются по принципу возрастающей градации. Первое было легко, как сон, второе ощутимо, третье жестоко. В стихотворении появляется тема страдания.

*И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.*

Это — апогей мучения Пророка. Поэтическая тема страдания выжидается на точных, конкретно чувственных зрительных деталях. «Кровавая десница» серафима — это уже не бесплотная рука с «легкими, как сон», перстами. Замершие уста — лишённые языка, речи и обездвиженные жестокой болью. Трепетное сердце — трепещущее, еще живое; отверстая грудь — разрубленная мечом... Картина, если представить ее зрительно, будет почти отталкивающей.

Но Пушкину нигде не изменяет его безошибочный художественный вкус. Он все время сохраняет дистанцию между словесным описанием и зрительным представлением, не допуская, чтобы картина сделалась прямо изобразительной. И здесь он пользуется той самой абстрактностью и многозначностью «высокого» старославянского слова, о которой у нас уже шла речь. «Трепетное сердце» — это не столько трепещущая живая плоть, сколько «пугливое» сердце (как в сочетании «трепетная лань»). И «отверстая грудь» (открытая в глубину) не вызывает прямого зрительного представления о ране — оно как бы подсказано, дано косвенно, намеком. Слова играют своими скрытыми, вторичными значениями, оттенками смысла — то более общими, то более конкретными. Они подчеркиваются или приглушаются, они окрашивают собою соседние слова и строки, давая простор воображению читателя и в то же время ставя ему границы. Их совокупность — целая сеть связанных между собою поэтических значений, то, что мы называем «поэтическим контекстом». Он дает всему стихотворению обобщенный, широкий смысл.

4

Чтобы смысл этот прояснился для нас окончательно, нам недостаточно, однако, внимательного чтения слов и строк: нам нужно представить себе все движение поэтической мысли стихотворения, его, как говорят, «лирический сюжет». Мы видели, что тема «мудрости» Пророка сменилась в стихотворении темой «мученичества» и что мученичество связано с обретением пророческого дара. Мысль эта принадлежит самому Пушкину, ее нет в библейских книгах пророков. Мы заметили и то, что напряжение в стихотво-

рении все время растет. Когда серафим заменяет человеческое сердце Пророка пламенеющим углем — символом вечного горения,— напряженно достигает высшей точки. Но эта высшая точка означает смерть.

Как труп в пустыне я лежал...

Теперь воскресить Пророка может только воля божества.

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк...»

Так впервые появляется слово, давшее название всему стихотворению. На нем лежит особое смысловое ударение. Герой встает уже обновленным; он прошел через человеческие муки и человеческую смерть, он перерожден в прямом смысле этого слова — перерожден в Пророка.

...и виждь, и внемли,

Исполнишь волю моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

В этом заклинании как бы сведены воедино поэтические темы стихотворения. В глаголе «виждь» — напоминание о даре «вещного» зрения; «внемли» — слушай — об умении слышать голос мира; «глагол» (слово) Пророка исполнен змеиной мудрости («жало мудрая змея»); наконец, он может «жечь сердца людей», ибо у него самого горящий уголь вместо сердца. Теперь он провозвестник высших истин и высшей справедливости.

О чем именно он говорит — мы так и не узнаем. Может показаться странным, но стихотворение о пророке обрывается как раз в тот момент, когда герой его становится Пророком.

В этом была смелость и оригинальность замысла. «Пророк» написан не о пророке, а о том, как суровый, патриархальный, бесхитростный, но взыскующий истины житель пустыни совершал свой мученический путь, завоеывая право нести людям волю божества. Это стихи не о божественном, а о человеческом.

Как мы уже говорили, они были написаны через считанные месяцы после казни декабристов. Современники передавали, что «Пророк» входил в цикл стихов, посвященных казненным, что первоначально он выглядел иначе и что Пушкин захватил с собой из Михайловского в Москву листок с текстом этой ранней редакции, чтобы вручить его новому царю, если разговор с ним окончится для него неблагоприятно.

Мы не знаем этого раннего текста, и самые рассказы настолько глухи и отрывочны, что сейчас трудно проверить их до конца. Несомненно, однако, что за ними стояли какие-то реальные факты. Однако уже и сам текст — измененный и более поздний — сказал нам многое... Его суровый и трагический колорит, его идея — что право глаголом жечь сердца людей достигается только через смертное страдание, — все это прямо связано с общественными настроениями, пробужденными жертвенной гибелью первых русских революционеров. А совершенство художественного воплощения придает ему ту мощь поэтического воздействия, которая делает его одной из вершин русской классической лирики.



В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

Илья Авербах,
кинорежиссер, заслуженный
деятель искусств РСФСР



**МОНОЛОГ
О МАРИНЕ НЕЁЛОВОЙ**

Все кинорежиссеры публично кланутся в своей любви к артистам. Киноартисты, давая интервью, уверяют, что с данным режиссером их связывают отношения исключительной любви.

Все-таки в кинематографе существует своя этика взаимоотношений. И это хорошо.

Между тем отношения режиссера и артиста — едва ли не самый сложный аспект в тех бесчисленных связях, которые пронизывают съемочную группу тысячами нитей, пересекаются, путаются, убивают творческое начало кинематографа, делают ежедневную, внезапно осточертевшую работу одухотворенным прекрасным трудом, когда — все вместе, когда — одно дыхание, одна цель, одна радость, одно горе.

Клясться в любви просто. Любить много труднее.

Я попытаюсь рассказать о Марине Неёловой, которую снимал дважды — в «Монолог» и «Фантазиях Фарятева».

Марина Неёлова пришла в кинематограф (и в театр, конечно), введя туда точный тип, точный характер своего времени, тип современной городской — я это подчеркиваю — городской молодой женщины, почти девочки, которая, впрочем, так и останется девочкой чуть ли не до старости. Этакое дитя века «бита», в джинсах и свитерке, но с такой скрытой внутренней жизнью, что для того, чтобы уловить ее проявления, уловить тайную печаль или тайную радость, ощутить тень того интимного, что как будто свойственно этому лихому существу, нужен крупный план, эта «тяжелая артиллерия» кинематографа.

О ее крупных планах невозможно рассказывать — их надо видеть. На ее лицо, как только оно возникает на полотне экрана, вы уже будете смотреть не отрываясь. Оно живет напряженной и непрерывной жизнью, притом, что лицо это почти неподвижно, все время в сложной гамме оттенков, подробностей, когда какая-нибудь едва заметная складка у губ, полуулыбка может рассказать вам больше, чем длинная сцена с огромным количеством слов. Как это достигается? Кто может это знать?.. Здесь что-то близкое музыке, которая непостижимым путем возникает в голове композитора.

Эти две причины — ее социальная типичность и замечательная выразительность лица — определили приглашение на роль Нины в фильме «Монолог». В этом фильме главным героем был профессор Сретенский, которого играл Михаил Глузский, и все события и люди рассматривались как бы через него. Роль Нины, его внучки, была в сценарии скорее приблизительным эскизом, чем характером, в ней не было движения, она занимала место в сюжете — не больше. Поэтому так важно было найти актрису нужного «типа», которая бы с абсолютной точностью рассказала о драме первой любви, первых разочарований, первых потерях.

При знакомстве с актером у меня, как, вероятно, и у каждого режиссера, существует нечто вроде системы тестов. Я говорю себе, что в комнату входит человек, о котором я ничего не знаю — не знаю, кто он,

студе, какова его история. Первые движения, первые слова, манера сидеть, говорить, смотреть. Если в эти минуты я могу понять, что передо мной артист (пусть даже очень хороший), я не буду его снимать (в этом смысле у меня было только одно исключение — для Бориса Николаевича Ливанова в «Степени риска», но это — случай совершенно необычный и отдельная история). Следующий этап знакомства с актером сводится к попытке рассказать самому себе в течение ближайших пяти минут короткую жизненную историю человека, с которым я говорю. И если в истории этой (конечно, бессвязной, скорее образно, нежели последовательно строящейся) возникает ядро характера, даже, вернее, звенья характерного, которое окончательно проявится гораздо позже, значит, знакомство продлится и, может быть, приведет к каким-то реальным результатам.

Марина с необыкновенной легкостью и точностью прошла эти этапы. Ее историю хотелось довести до конца, и она обещала быть необыкновенной историей.

Роль Нины, которую она должна была сыграть в «Монолог», и трудна, и легка. При определенных условиях довольно нетрудно быть на экране самим собой, быть естественной и только, принести в кино обаяние юности, женственности, пластики. Говоря нетрудно, я имею в виду легкость (часто очень обманчивую) первых шагов, когда свое отдается без труда, ибо отдается впервые, нет груза многократной сыгранности самого себя, нет риска повторения. Марина же до «Молога» снималась только в сказках, то есть ее существование на экране было в известной степени

условно. Уже в первой пробе выяснилось к тому же, что она обладает врожденным «чувством камеры», заключающимся в том, что актер не боится объектива и одновременно не стесняется, так сказать, играть на этот объектив, естественно чувствуя соразмерность своих с ним отношений, определенную гармонию своих весьма сложных с этим жутковатым механизмом связей. Кроме того, Марина не боялась оказаться застигнутой камерой врасплох, не боялась оказаться беззащитной и некрасивой, что встречается нечасто.

Трудность роли заключалась в том, что в ней была одна ключевая, кульминационная сцена, требовавшая необычайной силы и полной безжалостности к себе, и вся роль зависела от того, как она сыграет эту сцену. Для пробы брать эту сцену было нельзя, так как она требовала слишком серьезного напряжения сил, поэтому пришлось решать — скажется в нужный момент у актрисы необходимая драматическая сила или нет. Мы решили вместе с ней, что окажутся. И к счастью — не ошиблись.

Съемки были построены так, что снимался этот эпизод в самом конце, актрису надо было к нему подвести, дать ей возможность прожить жизнь героини. Те, кто видел «Монолог», вероятно, помнят эту сцену — сцену, когда Нина выгоняет обожаемого ею деда из дому. Мы тщательно готовились к этому эпизоду, по частицам накапливая подробности и психологические обоснования поведения Нины. Сцена требовала полного отождествления себя с героиней, и мы вместе с Мариной долго создавали ту ситуацию, в которой уже не Нина, но сама актриса захлебнулась бы в подлинном, а не сыгранном горе. В сущности эта сцена бы-

ла ставкой роли, не получишь она, вся роль рухнула бы, работа пошла бы впустую.

Марина сыграла поразительно. Это было ясно уже во время съемки (что часто бывает обманчиво), находившиеся на площадке не смотрели друг на друга и глотали слезы. Полученный через несколько дней материал подтвердил, что мы не ошиблись, — сила горя на экране была необыкновенной. Но случилось ужасное — выяснилось, что увлеченный игрой Марины помощник оператора забыл убрать так называемые «усы», торчащие из камеры, и все планы (а мы сняли очень мало дублей) оказались безнадежно и неисправимо испорчены.

Мы прекрасно понимали, что второй раз сыграть так нельзя, нервная система актера имеет свои запасы прочности, снова вызвать в актрисе прежнее состояние невозможно, природа уже не откликнется на отработанные раздражители. Кроме того, уже была разрушена квартира Сретенского, превосходно обжитая актерами. Было от чего впасть в отчаяние. Сыграть второй раз так, как было сыграно, было нельзя, и я понимал, что нельзя требовать этого от актрисы. Вместе с тем переснять сцену было необходимо.

Видимо, за время этой пересъемки я и открыл для себя в Марине не только прелестный типаж, способную молодую артистку, но уже серьезную, опытную и высокопрофессиональную актрису. Первый раз она сыграла сцену в истерическом припадке, в себе вызванном. Второй раз она сделала это уже как мастер.

Одну роль в кино может сыграть каждый, если найти внутреннюю связь, которая соединяет роль с актером. Вот

почему я всегда ухожу от ответа, когда спрашивают после первой роли о будущем молодого актера. Будущее его зависит от многих привходящих обстоятельств, и поэтому здесь все всегда неясно. С Мариной все было ясно с первых шагов.

После «Монолога» она уехала в Москву, стала работать в Театре имени Моссовета, сыграла роль, которая как-то сразу прославила ее в театральной Москве. Потом перешла в «Современник», стала играть много и часто, иногда снималась в кино. Я видел, естественно, ее работы, что-то мне очень нравилось, что-то не нравилось совсем.

У психологов есть понятие — амбизалентное чувство. Одного и того же человека можно любить и ненавидеть в одно и то же время. Актеров, которых я по-настоящему люблю, я могу ненавидеть до такой степени, что в глазах становится бело. Марина Неёлова для меня — из этих актеров. В последнее время ее, на мой взгляд, нестерпимо, чрезмерно хвалят. «Великая трагическая актриса», «гениально сыграно», «энциклопедия женской души» — я это не придумываю, так в нынешнем году писали наши сдержанные на похвалу критики.

Талантливый человек быстро становится мастером, а играет она много и в общем-то безупречно, но то потрясение, которое, я знаю, она может вызвать, театральные работы у меня вызывали не всегда. Возможно, дело в ролях, которые она играет. Ей нужен глубоко драматический, может быть, трагедийный материал; она должна играть Шекспира, Чехова, Теннесси Уильямса. В театре, мне кажется, она почти не сталкивалась с материалом, который помог бы ей раскрыть всю силу ее таланта. Я даже нахожу не-

кое противоречие между ее творческими возможностями и сыгранными в театре ролями. И в этом я вижу драматичность ее судьбы — при всей славе, которой она окружена.

Через семь лет после «Монолога» я пригласил Марину сыграть роль Шуры в телевизионном фильме «Фантазии Фарятьева» по пьесе Аллы Соколовой. Сам факт ее приглашения был для нас обоих сопряжен с определенными трудностями и, в общем, с риском, может быть, гораздо большим, нежели в первый раз.

Дело в том, что у себя в театре Марина играла в спектакле по этой пьесе (впрочем, продолжает играть и по сей день). Но играет она не Шуру, а ее младшую сестру — Любу. Играет блестяще, мастерски, совершенно справедливо восхищая и зрителей и критику.

Сделать рывок — и в том же сюжете (но в иной концепции всей вещи) превратиться из угловатого, мучительно взрослеющего подростка во вполне взрослую, даже чуть скучноватую взрослую женщину — было трудно. Вместе с тем, я убежден, что ей пора взрослеть — говоря это, я имею в виду, что, скажем, в чеховском репертуаре Марина сегодня должна играть не Аню в «Вишневом саде» (что она делает), а Машу в «Трех сестрах» (чего, к сожалению, пока не сделала).

Я думаю, что актер останавливается в своем развитии в тот момент, когда он почувствовал всеисильность своего обаяния. Если это случилось, все мертвеет, вместо новых, живых черт характера возникает сумма приемов, появляется то, что называют скучным словом «штампы». Воспроизведение штампа не требует прежней затраты сил, штампы и приемы «обра-

стают» актера, как ракушки стоящую без движения лодку, маска становится лицом, теперь уже нужны колоссальные усилия, чтобы пробиться назад, к самому себе, к своей живой, гибкой и пластичной природе, к той, прежней чистоте восприятия и свежести средств выражения. К сожалению, очень многим из почувствовавших всеисильную власть своего обаяния актерам так и не удалось вернуться назад, и они навсегда остались в плену у самих себя.

С Мариной, к счастью, этого не случилось, но кое-какие симптомы, даже, я бы сказал, тень симптомов этой болезни стали возникать время от времени. Так, на репетиции она иногда искала смысл диалога интонационно, а не идя от существа играемой сцены, в движениях ее появились определенные пластические приспособления (а она превосходно двигается). Она полюбила многочасовые разговоры о том, как предстоит играть будущую сцену, вместо того чтобы искать решение в работе.

Чтобы сделать роль Шуры так, как умеет Неёлова, многое у Неёловой надо было разрушить. И при этом я знал, что никто другой точнее ее не сыграет драму Шуры, это был материал Марины, именно то, что играть ей нынче просто необходимо, чтобы не остановиться на месте.

В каждой роли есть ключевые, главные сцены. Малейшая ошибка в такой сцене может зачеркнуть роль. В «Фантазиях Фарятьева» у Шуры таких сцен две — исповедь Фарятьеву и уход к человеку, которого она любит. Две сцены эти — как два полюса характера, характера сложного, противоречивого. В исповеди Шура беспредельно женственна, прекрасна, одинока, духовна. наконец. В уходе

возникает другая женщина — банальная, жалкая, эгоистичная, бездуховная.

Мы снимали исповедь неподвижной камерой, мизансцена была предельно статична, снимали, в общем, только Марину, ее выразительное лицо, за которым так мучительно интересно следить.

Вторую сцену мы снимали общим планом, ручной камерой, лицо актрисы становилось почти маской, сцена должна была напоминать какой-то странный, безумный танец, в котором выразилась бы вся суть этой женщины. А суть ее в том, что она самая банальная фигура в этой драме.

И если первая сцена была сыграна Мариной сразу и поразительно сильно, потому что драматизм материала содержал в себе необходимую взрывную дозу, то со второй сценой мы мучились очень долго. А дело было в простом — сцена требовала некрасивого движения; танец, о котором я говорил, должен был быть скорее отталкивающим. Нет, конечно, мы добились своего в конце концов, но как долго мешали найти нужную меру правды и выразительности те — нет, не могу все-таки по отношению к Марине сказать — штампы, скорее, конечно, приемы, привычка двигаться достаточно красиво, некоторый возникший страх оказаться перед камерой в абсолютно новом, еще не сыгранном прежде состоянии, чего раньше не было.

Марина работает много, может быть, слишком много. Во время съемок «Фарятьева» у меня было ощущение, что работает она на последнем дыхании, на пределе — нервном и физическом.

Наверное, это почти невозможно — при напряженнейшем графике работы провести десять ночей подряд в поезде. А у нас было именно так. Вот график ее жизни в те дни: утром — репетиция в театре, вечером — спектакль, ночь в поезде, двенадцать часов съемки в павильоне, ночь в поезде, утром — репетиция, спектакль, поезд, двенадцать часов в павильоне и так далее.

Театральных актеров часто ругают, что они снимаются в фильмах без особого разбора, часто играют роли, недостойные их дарования. Марину в этом упрекнуть нельзя. Она снимается редко, и правильно делает. Но, вероятно, должна существовать и определенная настроенность к предлагаемым в театре ролям. Кое-что без ущерба для ее таланта можно было бы — даже нужно было бы — пропустить, от чего-то отказаться...

У Марины много достоинств (недостатков — тоже). Одно из них — редкое самоедство. Она всегда недовольна тем, как сыграла. Кокетничает? Ну, может быть, самую малость, самую каплю. Она так чувствует по существу: некое совершенство где-то рядом, вот оно, здесь, — стоит только руку протянуть...

Я уверен — ей сейчас нужен истинно драматический материал, настоящая литература, настоящая драматургия; я уверен, что она должна перестать играть подростков — это для нее уже вчерашний день. Работа в «Фантазиях Фарятьева» — одна из ступенек того, что должно с ней произойти. Ступенька — не больше. И тем радостнее будут ее грядущие истинные победы.

Тамара Грум-Гржимайло

ВСЕГО ДОРОЖЕ В МУЗЫКЕ

Безбрежен мир музыки. В нем и дыхание Вселенной, и трепет единственного человеческого сердца, и ритмы прошлых столетий, и пульс сегодняшнего дня, который стучится в будущее...

Что же это такое — музыка?

Иные люди убеждены: музыку понимать невозможно, ибо она не выражает ничего конкретного. И, дескать, прав был какой-то насмешник, заявивший однажды, что «посредством музыки нельзя выпросить себе и

стакана воды». Русский писатель и музыкант Владимир Федорович Одоевский, вспоминая об этом «насмешнике», говорил: «Он не мог сказать ничего лучше в пользу этого искусства». Ибо именно элемент неопределенности, неуловимости музыки и составляет секрет ее особого очарования.

Каких только определений музыки не породила история! Одни философы сближали музыку с миром чисел и точных наук, другие — исключительно с

миром ирреальным, неуловимо таинственным, божественным. Одни видели в музыке гигантскую этическую и преобразовательную силу, способную даже влиять на государственный строй; другие — напротив — явление «чистого искусства», абсолютно абстрагированное от жизни. Музыка была предметом страсти и размышлений многих лучших умов человечества. Величайшие философы, художники, поэты ставили музыку выше других искусств, выделяя ее особенную — объединительную, гуманистическую миссию.

Тем не менее роль музыки в истории еще полностью не осознана, до конца не оценена. И если сегодня мы вспоминаем великих предшественников, то с единственной целью — вернуть музыке возвышающую ее единственность, утвердить место музыки на пьедестале, принадлежащем ей с древнейших времен.

Ведь в наше время, когда музыка — «серьезная» и «легкая», старинная и современная — тиражируется всеми видами звуковоспроизводящей техники и становится общедоступным атрибутом быта, условия ее восприятия все более теряют характер торжественный, сосредоточенный, интимный. Для иных любителей современного бытового комфорта музыка превращается в украшение интерьера, подобно модным обоям и декоративным безделушкам. Какой-нибудь любитель многочасового

слушания радиостанции «Маяк» становится пассивным «звукоулавливателем», на которого обрушивается лавина музыки самых разных эпох и стилей, стран и народов: сложный мир современной симфонии сменяется бесхитростной детской песенкой, величественный органной хорал Баха — импровизациями джаз-рок-ансамблей, прозрачное звучание классической скрипки — гулом современных электронных инструментов. Панорама музыки XX века, во всех ее контрастах и причудливых переплетениях, доставляемой прямо на дом чудодейственными средствами эпохи НТР, становится для современного слушателя (часто — совсем неподготовленного!) неким единообразным рационом для ежедневного слухового «питания».

Как тут быть? Ведь по крайней мере три века музыки воспринимаем мы сегодня. Три века музыки плюс еще более древние — профессиональные и фольклорные — виды составляют богатство и содержание современной «звучащей» музыкальной культуры. И слушая эту «разную музыку», мы должны научиться слышать в ней особенное, единичное, неповторимое.

Что бросается в глаза прежде всего, когда мы погружаемся в мир звуков? Музыка существует не в пространстве, как пластические искусства, но разворачивается во времени. Чтобы слушать музыку серьезно,

целенаправленно, необходимо особенное — напряженное — внимание, то, что композитор Игорь Федорович Стравинский иногда называл «бдительностью памяти». Ведь память человека, воспринимающего слухом музыкальное произведение, непременно должна не только фиксировать господствующую мелодию, ритм, тембровые краски и непрерывное их изменение во времени, но и удерживать в поле так называемого внутренне-го зрения развитие этих элементов, мысленно складывать, создавать музыкальную форму как единую художественную конструкцию. Не случайно музыку иногда сравнивают с архитектурой.

В сознании слушателя совершается своеобразный строительный процесс. А до этого аналогичный строительный процесс происходит в сознании исполнителя, работающего над музыкальным произведением. Выдающийся советский дирижер Натан Григорьевич Рахлин так и говорил, что, работая с оркестром над симфонией, он чувствует себя архитектором: «Строя, воспроизводя партитуру, работая над ее деталями, дирижер должен знать: здесь будут колонны, здесь — портик. А начинать он должен с кирпичика, с фундамента, с баса...»

Каждый, пришедший в мир музыки и нашедший там свое, сокровенное, знает, как радостно почувствовать однажды на-

тренированность своего слуха; способность проникать в глубь звучащей музыкальной ткани, мысленно как бы расчлняя ее; способность различать начала и концы музыкальных фраз, предложений и целых периодов; удерживать в сознании разные музыкальные темы и ритмы, следить, как они развиваются, сплетаясь и перекликаясь, как трансформируются, перемещаясь в регистрах, как меняют свою эмоциональную окраску. Ведь только музыка обладает такой силой переменчивости эмоций. В короткий миг она может вырвать слушателя из мира света и радости и погрузить в бездну мрака и огчаяния, и — напротив — из мира меланхолических созерцаний позвать в мир волевых, героических действий.

Музыка — точно речь человеческая, полная бесконечных оттенков и переменчивых интонаций, выразительных пауз, восклицаний и умолчаний. Возьмем для примера Интродукцию и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром Сен-Санса. Не правда ли, как ясно здесь членение на музыкальные «фразы» и «предложения»? А сколько оттенков переменчивой музыкальной речи — от вопроса, нежной мольбы, сомнений, отрицаний через поиски нужных «слов», пауз, раздумий и, наконец, к единственно верной интонации согласия, решения, утверждения... Всю эту «говоря-

щую» стихию музыки в свое время очень точно воплощал Давид Ойстрах, а в наши дни — скрипач Виктор Третьяков, один из лучших современных интерпретаторов Интродукции и рондо-каприччиозо Сен-Санса.

Музыка по самому своему существу — искусство динамичное. Способность музыки отражать жизнь как процесс — одна из сильнейших ее сторон. В партитуре известнейшей Четвертой симфонии Чайковского, например, развернута широкая динамическая картина целой жизни человека — жизни, полной борьбы, страданий и преодолений беспокойного человеческого духа. «Нам всего дороже в музыке, — писал великий Чайковский, — ее способность выражать наши страсти, наши муки».

Однако вспомним того «насмешника», который уличал музыку в неспособности выпросить даже стакан воды. Да, волшебное искусство звуков имеет свои «слабости». Самая великая симфония не может дать и малой доли тех конкретных представлений о предметах окружающего нас мира, которые могут уместиться на маленьком живописном полотне. Музыка бессильна в описании конкретных образов людей и природы, в рассуждениях о добре и зле и вечных проблемах бытия, в философской трактовке исторических событий, то есть там, где всеисильны литература или театр.

Да, разумеется, музыка не-

сет в себе, как правило, поток чувств большой силы, но не слишком отчетливой направленности. Не случайно те, кто размышлял о музыке, иногда спрашивали себя: не является ли смутность эмоций, выражаемых музыкой, существенным фактором ее волнующего воздействия на людей? И в наши дни немало можно встретить таких ценителей, которые любят музыку главным образом за ее абстрактную, невещественную сущность, как бы поднимающую слушателя над обыденностью. Однако немало встречается и других людей — тех, кто не воспринимает музыку, если не рисует в своем воображении конкретный сюжет, зримые образы и даже целые картины. Что же, быть может, предметный мир и в самом деле каким-то таинственным образом проникает в музыку?

Подумаем о самом простом. Можно ли средствами музыкальной «живописи» создать пейзаж?

Ну, конечно, многие из нас тут же вспомнят картины природы, запечатленные в таких классических произведениях, как фортепианный цикл Чайковского «Времена года», или оперы Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже», или знаменитое вступление к опере Мусоргского «Хованщина» — «Рассвет над Москва-рекой». И многое другое. Но давайте по-

дойдем к вопросу с другой стороны. Возьмем два близких образа в живописи и в музыке: картину Васнецова «Витязь на распутье» и арию Руслана «О поле, поле» из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Помните картину мертвого поля у Васнецова — с черными воронами, кружащимися над останками тлеющих костей, и скорбную фигуру рыцаря, погруженного в думу перед пророческим камнем...

А что же рисует музыка в сочетании с пушкинским поэтическим текстом:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал
В последний час кровавой
битвы?

Низкие мрачные регистры звучания инструментов. Тяжелая «поступь» струнных и «вздохи» духовых. И скорбный неторопливый речитатив-раздумье, переходящий в патетическую арию. В музыке — никаких изобразительных деталей, а лишь выражение внутреннего душевного состояния рыцаря, созерцающего скорбную картину. И нам нетрудно понять, что взор Руслана как бы отрывается от реальной картины мертвого поля и обращается внутрь себя, вопрошая судьбу.

Что же, спросите вы, значит, музыка не в силах живописать природу? Ее изобразительные

возможности эфемерны? А литовский композитор и живописец Чюрленис, создававший свои «морские сонаты» и симфонии «из шума волн, мерцания звезд, из таинственной речи леса» (так он писал)? А Ретин, черпавший свои образы и вдохновение из музыки? Это он сказал о ре-мажорной прелюдии Рахманинова: «Озеро в весеннем разливе, русское половодье...»

Оно и правда так. Эту прекрасную горделивую прелюдию в светлой тональности «ре» невозможно не назвать лирическим музыкальным пейзажем: мелодия ее, разливаясь медленно, плавно, как бы манит за собой вдаль, рождает ощущение покоя, водного разлива, бескрайних просторов, уходящих за горизонт. Это так характерно именно для Рахманинова, с бесконечной фантазией творившего свои «мелодии-дали». Сам Рахманинов признавался: «Когда я сочиняю, мне очень помогает, если у меня в мыслях только что прочитанная книга, или прекрасная картина, или стихи...»

Так, по-видимому, рождался рахманиновский цикл этюдов-картин, среди которых особенно популярна ми-бемоль мажорная, которую сам Рахманинов назвал «Ярмаркой». Разве не праздничный гул и перезвон, разве не ослепительные краски масленичного гулянья — в этой музыке, вызывающей в памяти кустоди-

евские картины русских приволжских старинных городов?

Музыка — тончайший живописец. Но что бы ни живописала музыка, главным в ней всегда останется человек, его настроение, его эмоциональное отношение к миру. И потому, скажем, в симфонической поэме «Влтава» Сметаны, где тонкими образительными средствами постепенно разворачивается перед взором слушателя пейзаж величественной реки, главное — не сама эта река, а восхищение человека, любящегося рекой, родными просторами, состояние лирического героя, в душе которого складывается прекрасная поэтическая песня.

Вы замечали, вероятно, слушая музыку, что звуки определенной высоты и тембрового колорита могут создать ощущение мрака или света и даже разных цветов спектра. У некоторых композиторов был так называемый «цветной слух», например, у Скрябина или у Римского-Корсакова. Последний, в частности, писал, что симфонический оркестр способен воплотить такие цветовые явления, как «блеск, сияние, прозрачность, туманность, сверкание, молнию, лунный свет, закат, восход, матовость, тьму».

Прокофьев же музыкой своей доказал нечто большее. Он изобразил в своей «Скифской сюите» восход солнца. Да так, что композитор Глазунов, присутствовавший на премьере, не

выдержал «палящих лучей» этого солнца и покинул концертный зал за восемь тактов до окончания произведения!

Беседуя однажды с академиком Борисом Владимировичем Асафьевым, Горький сделал меткое замечание: «Плох, знаете, музыкант или музыкальный критик, если он не слышит леса, полей, моря, да что же — и звезд! Много мне приходилось ходить, и вот иногда иду один и слушаю, почти ничего не замечаю и не напеваю, а только слушаю и слышу: степь особенно...»

Да ведь так и рождается музыка. Рождалась и тысячелетия назад. Не в мастерской музыкальных инструментов возникали ее первоначальные звуки, а в природе. Из разрозненных натуральных звуков и интонаций человеческих голосов сложилась система музыкального языка. Безмятежное щебетанье птиц и воинственный лязг скрежечающихся мечей, тревожные раскаты грома и мирное жужжание домашнего веретена, вой ветра и плач матери над убитым сыном, праздничные фанфары и похоронные колокола — все это входило в музыку не только как элементы звукоподражания природе и жизни, но как система образных средств, призванных стать «опознавательными знаками» для воспринимающего сознания.

Думается, всякий, даже неискушенный слушатель отличит

русскую камаринскую от испанского болеро. Всякий отличит в музыке безмятежное птичье щебетанье от глухих раскатов приближающейся грозы (вспомните знаменитую «Пасторальную симфонию» Бетховена). Не нужно много эрудиции, чтобы отличить в музыке «лязг» скрежечающихся мечей («Сеча при Керженце» Римского-Корсакова или «Илья Муромец» Глиэра) от «грохота» стальных современных военных машин (Седьмая и Восьмая симфонии Шостаковича), «жужжание» шмеля из пушкинской сказки от «гула» самолетных винтов (Вторая симфония Щедрина) и так далее.

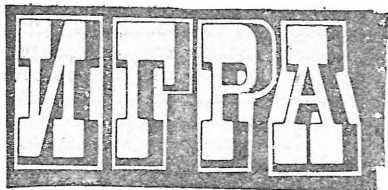
Но не будем увлекаться изобразительными свойствами музыки. Так же как не будем искать в музыке (не связанной со словом или литературной программой) конкретно развивающихся сюжетов и осязательных образов. Если в финале бетховенской «Аппассионаты» вы уловили образ бури, — не старайтесь утверждать, что это обязательно буря революционных событий, или — напротив — буря в душе человека, или, наконец, просто бушующая стихия природы (хотя и известно, что разгневанный Бетховен именно в бурную грозовую ночь покидал

имение оскорбившего его князя Лихновского, унося листы незаконченной «Аппассионаты»). Достаточно того, что вы услышите в этой музыке бурю!

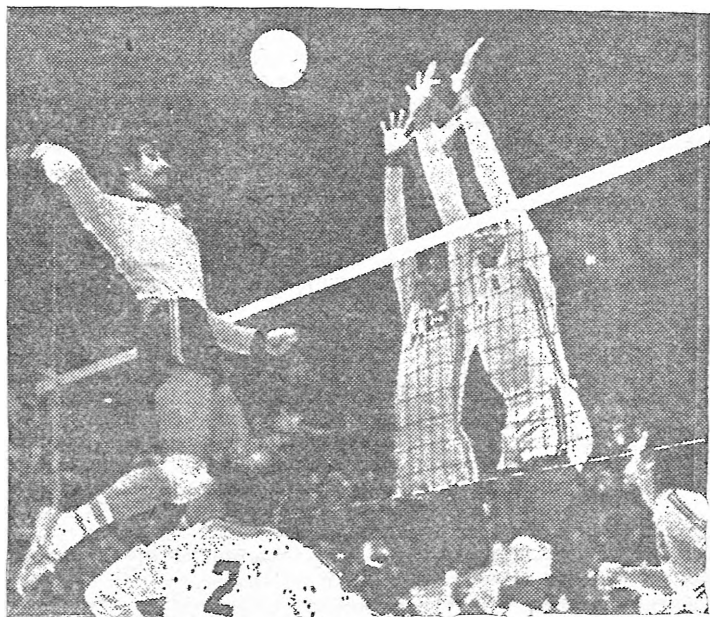
Музыка упорнее любого другого искусства сопротивляется переводу на язык слов, язык понятий. Недаром Петр Ильич Чайковский, завершая свое известное письмо к Надежде Филаретовне фон Мекк и ужасаясь неясностью и недостаточностью той программы своей Четвертой симфонии, которую он сам пытался изложить, приводит бесмертные слова Генриха Гейне: «Где кончаются слова, там начинается музыка...»

Любопытно, что в XX веке нечто подобное, но по-своему высказал о музыке Илья Эренбург: «Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все...»

Но дело, разумеется, не в определениях. Дело в самой сути искусства. Слова могут дать лишь приблизительное представление о тех высотах, которых достигает музыка. Понять и почувствовать их в полной мере может дать лишь сама музыка...»



Алексей Самойлов



Новый старший тренер, к удивлению многих, оставил состав сборной практически без изменений. От добра добра не ищут — в Монреале, по его убеждению, играли действительно сильнеешие наши мастера. Зачем же их менять?

Менять надо не игроков — игру. В этом Платонов тоже был убежден.

Оставалось убедить волейболистов.

Ленинградцев — Вячеслава Зайцева, Владимира Дорохова, Александра Ермилова — не приходилось агитировать за сложный, быстрый волейбол. «Автомобилист» уже давно его исповедовал. Но как добиться, чтобы уверовали в разумность, необходимость перестройки армейцы Александр Савин, Анатолий Полищук, Владимир Кондра, Олег Молибога? Разве не они неизменно оказывались впе-

Окончание. См. «Аврору» № 7—1980

реди ленинградцев в первенстве страны, разве ЦСКА с его мощной, надежной, хотя и простоватой, дозольно прямолинейной в недавнем прошлом игрой не брал верх над хитроумным, по последней тактической моде экипированным «Автомобилистом»? Чего же ради им переучиваться, перестраиваться? Не естественнее ли, наоборот, всем остальным подстроиться к ним?..

В те первые месяцы, видя на тренировках лица преданные, сочувствующие, исполнительные и настороженные, Платонов молил судьбу о двух дарах, всего о двух. Терпении и удаче. Терпении — чтобы самому не устать объяснять, убеждать, обращать в свою веру несогласных и сомневающихся. Удаче — чтобы выиграть первые же крупные соревнования...

Клубный тренер, строя тактику, исходит, как правило, из возможностей своих игроков. У тренера сборной есть возможность создать команду своей мечты. Идеал тренера-практика не утопия, модель команды-мечты возникает в его воображении не с условными «иксами» и «игреками», а с реальными Сашей, Славой, Пашей, Аликом... И он, руководитель сборной, считается с возможностями наличного состава, но его диапазон гораздо богаче, чем в любом клубе, и не сковывает замыслы творца в той степени, как на клубном уровне.

Приближался чемпионат Европы. Платонов понимал: в Финляндии очень многое решится — или они вместе перейдут Рубикон, или останутся на старом берегу игроки, еще не успевшие ему поверить, но уже разуверившиеся, сбитые с толку. И тогда про себя, в душе станут обвинять его, тренера, и тогда почти невозможно будет убедить их в своей правоте...

В победе на чемпионате Европы отсутствовала непреложность. Наша сборная выиграла, но с той же долей вероятности могла проиграть. Подфартило, чего там. Полякам во встрече в подгруппе наши уступили, но поляки неожиданно споткнулись на сборной ГДР, которой советская команда, в свою очередь, нанесла поражение. В финале снова скрестились пути сборных Польши и Советского Союза. Платонов не повторил ошибки первого, предварительного матча, когда доверил место на площадке вроде бы сильнейшим, по абстрактному счету, самым лучшим волейболистам. Но лучшие и сильнейшие, оказалось, не тянут против поляков. От предыдущих поражений у них появился комплекс неуверенности, противное чувство обреченности. Сказались они и в первой встрече на чемпионате Европы. Подспудно убежденные в невозможности перехитрить, переиграть польскую команду, они попытались ее сокрушить, подавить силой, сломить, забыв о наставлениях тренера, о выученных, но не твердо закрепленных комбинациях.

Платонов рискнул, произвел существенные перемены в составе. В шестерке появились Молибога, Селиванов — неожиданно для них самих и для поляков. В финале в третьей партии (после двух — 1:1) соперники советской команды вели 13:6. Два очка оставалось им взять, и — все в зале понимали это — моральный дух проигравших был бы сломлен. И тогда Платонов послал на площадку Павла Селиванова, надеясь, что лихой, неунывающий Паша воспламенит бойцов для битвы, уместной шуткой снимет предельное напряжение, раскрепостит игроков. Выскочил Паша и тормозит Зайцева: «Слава, играй на меня, а я зажмурюсь и буду бить».

Заулыбались остальные, ожили. А Паша не унимается: «По коням, ребята, по коням!»

Такую «рубку лозы» устроил Паша Селиванов — спасли ребята третью партию, а в четвертой их уже было не удержать.

Проигрывать решающий матч крупнейшего турнира всегда неприятно. Вдвойне неприятно, болезненно задевает самолюбие игрока, гордость мастера, когда его превзошли не грубой силой, а быстротой разума, тонкостью понимания, искусностью исполнения — всем, чем ты, мастер, сам славен, всем, в чем равных не имел.

Очень нужна была эта победа сборной и ее старшему тренеру. Выяснилось, что, усложняя себе жизнь разучиванием и шлифовкой новых комбинаций, еще больше усложняешь жизнь сопернику. «Беготня» на проверку оказалась рациональнее, чем самый рациональный волейбол. Выяснилось, что совсем не обязательно, как считалось раньше, иметь на весь чемпионат одну стартовую шестерку и по ходу поединка производить лишь плановые замены. Узаконенное прежде деление игроков на основных и запасных у одних усиливало чувство уверенности и незаменимости, у других — подспудное ощущение своей второразрядности, ненужности. При Платонове в шестерку попадали те, кто сильнее сегодня, кто сейчас в лучшей форме, кто для данного соперника по своей манере наиболее удобен.

Окончательно уверовали волейболисты в своего тренера, в справедливость и разумность его принципов через два месяца после европейского первенства, на Кубке мира в Японии. Там снова сборная СССР торжествовала победу над высококлассными мастерами Польши. Там наши игроки почувствовали, что Платонов словно бился рядом с ними, словно был на площадке седьмым игроком. И тренер ощутил полный контакт с волейболистами, чего ему так не хватало на чемпионате континента.

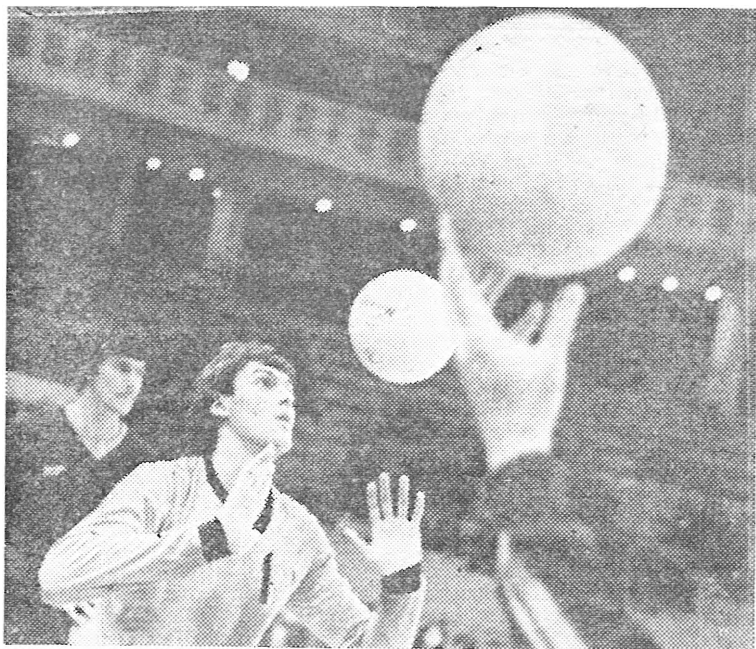
Первое свое педагогическое сражение Платонов счел выигранным, когда в самолете, выполнявшем рейс Токио — Москва, к нему подсады два друга, соседи по дому, одноклубники из ЦСКА, самолюбивые Олег Молибога и Владимир Кондра и сказали:

— А знаете, у нас в сборной совершенно правильный принцип — играют те, кто на сегодняшний день сильнее, независимо от того, откуда они — из ЦСКА или «Автомобилиста»...

Тренеры — Платонов и его помощник Паткин — поверили игрокам. Игроки поверили тренерам, вздохнули свободнее, раскрепостились.

Семь месяцев, от мая до ноября, — сказочно короткий срок для рождения новой команды. Но тренер и спортсмены начали присматриваться друг к другу не семь месяцев назад, а много раньше. Платонов пять лет руководил молодежной сборной СССР и не был для них человеком со стороны — девять из двенадцати игроков прошли через молодежную команду и становились в разные годы чемпионами Европы среди юниоров.

Режиссер вошел в жизнь команды, когда семь месяцев присматривания, приглядывания, семь месяцев обретения доверия были уже позади. Об этом он знал по газетным отчетам, по рассказам ребят, тренеров. Как водится, в воспоминаниях об удавшемся деле



Юрий Панченко на разминке

все выглядело благостнее, трогательнее, закономернее, чем представлялось взору непосредственного участника или наблюдателя в разгар событий. Теперь он получил редкую возможность заглянуть за кулисы большого спорта, увидеть спортивную жизнь без помпы и наряда, без возбужденной и возбуждающей публики, увидеть человека Игры не в игре — в изнурительной работе, именуемой тренировками.

...В семь утра дежурный по команде Павел Воронков из киевского «Локомотива», новенький в сборной, обходит все комнаты: «На зарядку по порядку...» Но еще до зарядки, тепленьких, прямо из постелей, толком еще не проснувшихся, их ждет в кабинете врачебного контроля доктор Моторин. Пульс, давление... 46, 44, 48, 50... 110 на 65, 120 на 80... От доктора Моторина — к доктору Голубчикову. Он накладывает электроды на лоб и чуть повыше запястья сидящего волейболиста. Из электрокардиографа ползет бумажная лента с зубчиками. Спортсмен делает приседание, и на ленте выписывается новый график. «Как самочувствие?» — «Нормальное... Хорошее... Вялый» я что-то... Самочувствие отличное, готов выполнить любое задание... Подустал немного...»

Первый, по весне, сбор они проводили в Сухуми. Без мячей. Бежали кроссы, ворочали «железо», занимались акробатикой, делали ускорения, прыгали — не в щадящем режиме, а на предельном

пульсе, до двухсот! Базу закладывали: без нее игрок — рыба на песке, с ней — птица в воздухе. По три часа длится волейбольный матч — по двести и более раз прыгает игрок на блок и для удара, а сколько перемещается по площадке, падает, достает летящие со скоростью сто километров в час мячи, проигрывает в мозгу в считанные мгновения сложные ситуации, принимает решения и молниеносно действует.

Волейбол — одна из самых трудных и драматичных игр, потому что здесь исключительно велика цена своей ошибки, часто она ведет к потере очка, а иногда партии или всего матча. И некому исправить твою ошибку, как некому поправить стража ворот в футболе, гандболе, хоккее. Недаром же волейбол называют «игрой шести вратарей». Но и вратари, и волейболисты — живые люди, и они ошибаются... Кто играл в волейбол, помнит противную дрожь во всем теле после матча, опустошенность и дрожь — долго отходит перенапряженная нервная система, долго не отпускает игра, где так велика цена ошибки...

ОФП, или атлетическая подготовка, — так называется закладка базы, «нулевой цикл» в возведении здания спортивной победы. И волейболисты занимаются ею — куда же денешься... Посмотреть только на Зайцева, когда он бежит на стадионе, круг за кругом. Кто бы знал, как ему, большому, грузноватому, неохота истязать себя под солнцем, кто бы знал! Но сочувствия не дожدهшься — все ушли со стадиона, приступили к водным процедурам, а он, как заведенный, бежит и бежит, — эх, ему бы поджарость Алика Молибги!

Зайцев по натуре не торопыга, он все делает с ленцой, размеренно, без спешки. Саша Дьяченко из Харькова, как и Воронков, дебютант сборной, роет землю — редкий старатель. Вильяр Лоор, бывший игрок таллинского «Калева», а теперь ЦСКА, выполняет все, что положено, с какой-то природной склонностью к умеренности и аккуратности — похвалы начальства не ищет, а ругать его не за что. Кондра и Селиванов трудятся истово — по-другому не умеют.

Оттенков в отношении к атлетическим занятиям много — сколько душ, столько и оттенков. Правда, особой радости, одушевления режиссер ни у кого не углядел. «Надо» — и весь сказ. Но стоило появиться мячу и — сарынь на кичку! Ушкуйники, лихая ватага, пацаны из послевоенных дворов, хмелевшие от мяча с драной покрывшей! Ребята, да вы же наши, мои ребята, не замастерились, не обелись микасами-бекасами. Пас мне, пас...

Приплясывал на месте от возбуждения режиссер, подмывало его очертя голову кинуться в круговорот игры, да боялся задохнуться через минуту, смеха молодых тренированных ребят, боялся, хуже того, снисходительной жалости к давно потерявшему форму ветерану.

А волейболисты сборной, поставив в ворота своих тренеров, резались на стадионе в футбол. После медицинского контроля. После завтрака. До первой, утренней, тренировки.

...Залит солнцем просторный зал с окнами почти во всю стену. Протопали мальчишки по зеленому пластику в тренерскую. Доктор Голубчиков накладывал каждому на лоб маленький кругляш-датчик, другой кружочек — на ладонь, смотрел на стрелку какого-то прибора и диктовал доктору Моторину:

— Лоор — тридцать, Уланов — двадцать, Воронков — шестьдесят, Молибога — сорок пять, Кондра — двадцать, Савин — сорок...

Перед началом тренировки Моторин сообщил Платонову:

— Потенциал сегодня у всех высокий.

Дежурный по команде прикатывает из подсобки тележку с мячами. Игроки становятся в строй. Платонов объявляет: «Тридцать секунд — передачи над собой в низкой стойке».

Свисток — и будто вприсядку пляшут волейболисты, и над каждым белой бабочкой порхает мяч. Свисток — они бегут от лицевой линии к сетке и обратно, и опять к сетке. Еще свисток — становятся вдоль боковых линий и передают мячи ударом о пол. Новая команда: «Три минуты — игра в защите». Разбиваются по парам и терзают попеременно друг дружку: один хлестко бьет — другой в падении с перекатом достает мяч и тотчас вскакивает, готовый отразить более сильный удар, а нападающий, сделав замах, в последнюю секунду задерживает руку-плеть и расслабленной кистью, легонько-легонько касается мяча, и он падает к его ногам, метрах в пяти от защитника, тот летит в «ласточке» и подбивает мяч тыльной стороной кисти... Пластик — цвета молодой травы, но это не мягкая трава-мурава, а жесткое покрытие. Наколенники у всех, чтобы не травмироваться, но бока гудят, и футболки темнеют от пота после трех минут акробатики.

Платонов командует: «Подача». Паткин добавляет:

— Кто не подал — отжимается два раза.

Подают и принимают. Подают и принимают. Подают и... отжимаются.

По свистку меняется упражнение. По свистку и останавливаются — послушать старшего тренера.

— Сейчас подающий сам решает — остаться ему на задней линии или страховать, а нападающие действуют в зависимости от его решения. Всем ясно? Поехали!

Зайцев подал, Лоор и Лашенов караулят у сетки. Савин принял, довел мяч Дьяченко, тот сделал передачу Ермилову, Ермилов выпрыгнул и спустил мяч прямо за блок, а там Зайцев подстраховал блокирующих, не дал себя провести.

Платонов разобрался со страхующими и нападающими на другом краю сетки, но недаром же у волейболистов, особенно у разыгрывающих (последние годы он выступал в этом амплуа), превосходно развито периферическое зрение...

— Ермилов, в чем дело? Нет замаха, сделай замах.

Зайцев подал, Савин принял, Дьяченко выложил Ермилову мяч на блюдечке...

— Есть-есть, но не то, как говорил в школе наш учитель математики. Еще резче!

Подают, бьют, «покупают», страхуют. Нападающие выходят победителями чаще, чем защитники.

Резкий свисток.

— Слушайте все. Так дальше не пойдет. Мы считаем страховку необязательным делом. Почему? Поднимаем два мяча из десяти — официальная статистика чемпионата Европы и Кубка мира. Даже когда идем на страховку, не поднимаем. Неужели трудно понять, что при мощном блоке и хорошей страховке, заставив противника отказаться от обманных ударов и только нападать, мы сделаем пол-

дела... Выходим на страховку отдыхать, опустил руки, а надо работать с полной отдачей.

На следующий день на собрании команды Паткин скажет озадачившие режиссера слова:

— Начинается работа над тактикой и техникой, может быть, более нудная, чем атлетическая подготовка, но ее надо делать качественно, добиваясь мастерства в исполнении.

Вот те и раз — более нудная... Что ж, специалисту виднее, на то он и специалист. И не чистый теоретик, нюхал порох самых больших сражений; вчера вечером в зале показывали киноматериалы семилетней давности: Паткин нападает, Паткин принимает, здорово нападает... Паткин, глядя на Путьатова, Старунского, себя, удивлялся:

— Какие же мы все стриженные...

— И хоть бы у одного усы, — подхватил кто-то из ребят.

Половина нынешней команды при усах и никто, понятно, не стрижется под полубокс. Другие времена — другие песни. И комбинации другие. Ну а те, что знали и раньше, — скажем, «крест» и «волна» — исполняются сейчас гораздо быстрее.

...На вечерней тренировке отрабатывают комбинации — «тройку», «пятерку»...

— Какая цифра еще у нас не занята? Единица? Уславливаемся — «возврат» будет единица...

Не последнее дело — присвоить комбинации номер. При подаче противника разыгрывающий стоит спиной к своим и, заложив руку за спину, показывает на пальцах, что сейчас сыграем — «тройку», «пятерку» или «единичку».

— Попробуем сегодня так называемый возврат. Должен признаться, что я этого как игрок практически не делал. Но давайте попробуем. Если он вообще невозможен — откажемся от затеи...

Платонов у сетки показывает, что это такое, делая два шага — один в сторону, другой за спину пасующего, словно конькобежец на вираже.

— Идете как на «тройку», но в последний момент нападающий второго темпа меняет направление движения и атакует из второй зоны. Ясно? Пробуем!

Ни у кого не клеится. Воронков подает голос: «Черныш берется показать...»

У Владимира Чернышева «возврат» получается, он горделиво смотрит на товарищей. Павел Селиванов недовольно ворчит — не любит выскочек.

Вечернюю тренировку Платонов ведет в добром расположении духа; утром он был выведен из равновесия, взвинчен, тщательно скрывал от окружающих свое дурное настроение и, чтобы не сорваться, был непривычно церемонен в обращении с воспитанниками.

Выбил его из колеи один из лидеров команды — назовем его В. На собрании команды ему досталось и за то, что нахамил доктору во время обследования в диспансере, и за то, что сачкует на тренировках. Клещами вытягивали из него извинение... Он и раньше держался особняком, фыркал на замечания, позволял себе также, что другому не сошло бы с рук. Терпение спортивного начальства в конце концов лопнуло. От предстоящей поездки в Япо-

нию — наша сборная традиционно встречается летом с национальной командой Японии — его освободили. В. считал себя незаслуженно обиженным.

Через три дня после собрания, во время двусторонней контрольной встречи первого и второго состава, Платонов заменил его перед последней партией. Заменил без всякого педагогического умысла, просто давал всем поиграть. В. демонстративно засобирился. Селиванов удивился: «Ты никак уходишь?» В. ответил внятно и громко, чтобы все слышали: «Мне нет места в этой команде».

Паткин покосился на Платонова: видел, слышал? Старший тренер опустил веки: видел и слышал.

Пружинисто вышагивал В. по залу, и режиссер, свидетель его выкаблучивания, невольно им залюбовался.

— Какие задачи будут поставлены, Вячеслав Алексеевич?

— Еще одна партия, и все свободны.

— Нет, лично передо мной?

— Если тебе нет места в этой команде, можешь ехать домой.

Режиссер ужинал с Платоновым в пустой столовой. К куску хорошо отбитого и прожаренного мяса тренер не притронулся, попросил каши-размазни. Глухая необъявленная война со стороны В. стоила ему нервов, и в конце дня, когда он позволял себе расслабиться, давала о себе знать острой болью в желудке не залеченная до конца язвенная болезнь.

— ...Один у нас такой фрукт на всю честную компанию. По идее надо бы выгнать его, и был бы у нас идеальный коллектив,

— За чем же остановка?

— Он в игре нужен... А на сборах невыносим — филонит, остальные вкалывают и думают: «Почему он сачкует, а мы шадем?» И мысляшка закрадывается: «Чем мы хуже?» И вспыхивает борьба за справедливость, в ее коммунальном варианте... Но на играх он преображается — одарен от природы, и богато. Удар взрывной, акцентированный, универсальный нападающий — и первым и вторым темпом ходит, и с задней линии приварить может, и общая игра очень приличная. С ним комбинации интереснее получаются, чем с его дублером... Запутывается узелок — чем дальше, тем туже. Ума не приложу, как его развязать. Или все-таки разрубить?

Невыносимый и незаменимый, он вызывал к себе двойственное отношение. Переменчивый, многослойный, он бывал всяким — и дурным, и хорошим. «Человек настроения. Противоречив. Добр, расчетлив, но не мелочен. Хитер и простодушен. Позер, любит успех, но достаточно скромн в быту» — такую характеристику передал своим коллегам в сборную его клубный тренер.

Характеристика состоит из перечня противоречивых черт, как сплошь из противоречий соткан характер самого В.

Рубить узелок или развязывать? Развязывать или рубить?..

Все лето В. провел вне сборной. На комсомольском собрании подавляющим большинством голосов решили просить Спорткомитет СССР отчислить его из сборной, готовившейся к чемпионату мира в Италии. Но на последнем сборе, в Стайках под Минском, он появился — раскаявшийся, умолявший забыть все дурное, обещающий служить общему делу верой и правдой.

Платонов доверил ребятам решить его судьбу. Снова они со-

брались, снова навалились на него, продрали с песочком и приняли заблудшего сына в лоно семьи.

Чемпионат мира В. отыграл прилично, помог команде завоевать золотые медали, очень помог, особенно в финальном матче, бомбардируя итальянцев ударами с задней линии.

Спортивное руководство в Москве спросило старшего тренера, кто, по его мнению, достоин присвоения звания заслуженного мастера спорта (кроме тех, кто уже был заслуженным). Платонов ответил, что достойны все. Начальство, хотя само настаивало на включении В. в сборную, удивилось: «И этот... достоин?» Платонов настаивал на своем: раз мы взяли его в команду, и он постарался на славу, помог сборной после долгого перерыва вернуть титул сильнейшей — значит, по справедливости заслужил все, что и остальные. Иначе оттолкнем человека, пусть кому-то и несимпатичного, иначе потеряем ценного для олимпийской команды игрока. Доводы его в конце концов признали резонными.

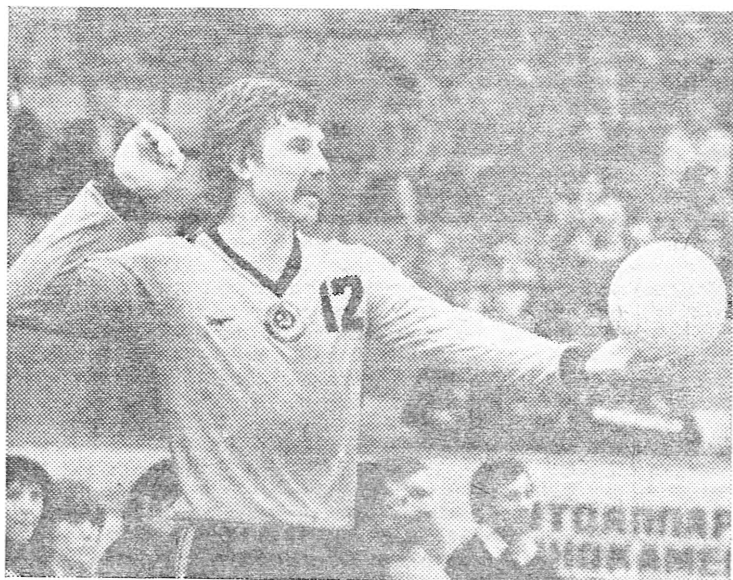
Справедливость восторжествовала, в этой истории можно ставить точку... Но жизнь продолжается. В. борется за место в олимпийской сборной страны, тренеры и игроки борются с ним и за него.

Режиссер сохранил пленку — запись рассказа старшего тренера, сделанную во время съемок фильма. Когда работа валилась из рук, для собственной подзарядки он прослушивал ее.

— Нам, тренерам сборной, доверены талантливые люди, одаренные, мыслящие. У нас нет морального права работать с ними шаблоном. Мы должны у каждой индивидуальности взять все лучшее, а их недостатки замаскировать своей тактикой. Организация игры — великая вещь, но есть истина и в саркастическом замечании видного английского специалиста футбола Вейда: «Организация — очень удобное убежище для людей, которым не хватает воображения». Помните, как они играли с Кубой? Очень дисциплинированно, очень аккуратно, все свои комбинации делали, но не боялись отступить от заученных схем, расцвечивали игру импровизацией, творили. Такими матчами сами волейболисты подсказывают нам, как строить игру команды, куда идти. Тренерам в пылу схватки важно не проморгать эти мгновения истины, тренеры должны опережать спортсменов в осознании всего, что связано с миром игры, миром спорта.

...Вы не задумывались, почему из волейбола вышло в жизнь столько творческих, интеллигентных, самостоятельно мыслящих людей — руководитель научно-производственного объединения, видный хирург, крупный конструктор, художник, артист, дипломат — я называю тех, кого знаю, чьи имена на слуху у всех. Да потому, что волейбол — идеальная модель для принятия человеком решения в максимально ограниченную единицу времени, он развивает скорость мышления, оперативную память, как никакая другая игра. И потом — соперников в волейболе разделяет сетка, прямого столкновения, лоб в лоб, нет. Это прибавляет игре деликатности, на силу приходится уповать меньше — надо думать и думать, как скрыть свои намерения, открыть карты противника и сделать это в какие-то доли секунды...

...И вот представьте ситуацию: пришел в команду великий тренер с грандиозными, наипрогрессивнейшими идеями, а игроки



На подаче — Вильяр Лоор

в них не поверили. Пиши пропало — не будет побед у этой команды. Только когда его игровые идеи станут их общими идеями, только когда его убежденность в своей правоте станет их общей убежденностью — сложится команда, способная на большие дела.

...Тренеру нельзя стареть. Надо всегда быть современным. Не разыгрывать из себя отца родного — дай бог мне быть хорошим отцом своей Оле... Не так уж и велика разница в годах между мной и игроками — десять, от силы пятнадцать лет, а уже другое поколение. Ритмы, от которых они балдеют, их патлы не приводят меня в восторг, но я этих ребят понимаю. И еще важно — быть ко всем справедливым, никогда с ними не фальшивить. Всегда видеть в игроке не только спортсмена, но прежде всего человека, с его проблемами, слабостями, надеждами...

Рассуждения Вячеслава Алексеевича Платонова выглядели прекрасно, но слишком, на взгляд режиссера, красиво, чтобы быть правдивыми в жестком мире соперничества, постоянной конкуренции современного спорта с его ставкой на успех. Но чем глубже входил режиссер в жизнь своих невыдуманных героев, чем ближе узнавал их, чем пристальнее всматривался во взаимоотношения тренеров с игроками, игроков между собой, тем меньше скепсиса оставалось у него относительно программы Платонова и возможностей ее осуществления.

Сложна и в чем-то противоречива задача тренера: помочь игроку полнее, ярче раскрыть свою индивидуальность на площадке и не допустить губительного для здоровья команды индивидуалистского настроения в жизни. В игре, которой Платонов посвятил свою

жизнь, все было построено на общении-самопожертвовании. Это сближало ее с современным театром: ты работаешь на партнера, он — на тебя, цепь взаимонасыщения, взаимоподдержки непрерывна...

Платонов не придирается к тем, кто ошибся в игре, превысив пределы допустимого риска. Но никому не прощает безразличия, попытки спихнуть ношу потяжелее на спину товарища, отсидеться в кустах, когда остальные расшибаются в лепешку, трусости. Тогда он говорит игроку в лицо обидные, болезненные для самолюбия, но не задевающие человеческого достоинства слова.

У Платонова мужественное лицо. Туго обтянуты кожей скулы, нос с горбинкой — след от удара в детстве клюшкой, близко посаженные глаза, что придает сосредоточенному взгляду решимость. В нашем кинематографе, примерял иногда режиссер, он мог бы сыграть волевого начальника геологической партии или председателя колхоза в послевоенной деревне. Впрочем, его крупные планы в минуты неудач, разочарований не очень-то работали бы на образ рыцаря без страха и упрека. Он знал сомнения, он переживал за свою команду, он обижался на своих ребят, когда они ошибались в простейших ситуациях, небрежничали, играли вполсилы. Режиссер исподлобья поглядывал на него в такие мгновения и видел, как лицо мужественного рыцаря превращалось в маску печали: опускались уголки рта, выпячивалась нижняя губа, брови образовывали крышу домика... Режиссер страдал ему и в то же время не мог сдержать улыбку — очень уж по-детски обижался Вячеслав Алексеевич Платонов, старший тренер сборной страны, умеющий не только направлять действия подчиненных ему людей, но и управлять собой, контролировать разумом свои чувства...

Мир игры азартен и рационален, расчислен и непредсказуем. В нем торжествуют расчет и стихия, отретированность и импровизация. И от своих верных служителей, от своих творцов мир игры требует взаимоисключающих, на первый взгляд, качеств, умений — обуздывать свои эмоции, сохранять голову холодной в пекле боя и в то же время отдаваться борьбе со всей истовостью, всем пылом, быть всегда самим собой и в то же время скрывать от противника свои истинные намерения, «заманивать» его... Мир игры, командной игры, делает человека гибким, эмоционально раскованным, уживчивым, внимательным к другому, выжигает в нем себялюбивое, мелкое, эгоистическое... Человек глубоко постигает себя в игре, в ситуациях предельных, рискованных. Человек выражает себя в игре, в спорте. Человек проверяет себя игрой, спортом. Игра, спорт позволяют ему узнать о самом себе много нового.

Интересно, думал иногда режиссер, кем станут они, когда уйдут из мира игры?

В сборной есть дипломированные инженеры и педагоги, будущие экономисты и тренеры. Нетрудно в недалеком будущем представить себе толковым инженером умницу, эрудированного малого Володю Уланова, выпускника МВТУ имени Баумана. Диплом радиоинженера получает Павел Селиванов, но мечтает он, подобно своему знаменитому земляку Карамышеву, стать профессиональным автогонщиком. В науке или на производстве не на последних

ролях будет острый на язык, понятливый и памятный Юра Кузнецов из Ленинградского института авиаприборостроения. Респектабельным директором крупного универсама или — бери выше! — главой торговой фирмы вполне способен стать ленинградец Слава Зайцев, выпускник Института советской торговли. Всех можно представить себе вне мира игры, без волейбола. (Даже Александра Савина — он являл бы собой чудо в любом виде спорта, где ценится сила, скорость и необычайная двигательная одаренность.) Всех, кроме Владимира Кондры.

«Ты, наверное, и во сне видишь мяч?» — спросил его однажды режиссер. Кондра подумал и серьезно ответил: «Во сне я ловлю барабульку и кефаль. И наяву, в отпуске, тоже. Утречком рано, на зорьке, найду укромное место — и в моем родном Сочи, как ни странно, такие находятся, — поставлю много удочек и сижу, кейфую...»

Больше всего на свете Кондра любит тишину и уединение. Поверить в это болельщику невозможно, болельщик стихийно придерживается теории, согласно которой человек един и в спорте, и в жизни. Сосредоточенный на своем, замкнутый, сдержанный Кондра зрителю абсолютно не знаком. Другой Кондра правит бал на площадке... С криком апачей выскакивает он, острый, как нож, из-за необъятной спины Савина и вспарывает оборону, точно рыбе брюхо... Лоор, невозмутимый фокусник, опережает блок неуловимым поворотом кисти — первым ему аплодирует Кондра, первым подскакивает к Лорику сыграть в «ладушки», интернациональный в волейболе жест-поздравление, подбадривание... И снова сам записывает со второго номера мертвый мяч, и несется под своды его возбужденное «О-о-о!» А какие чудеса творит он на задней линии! С полуоткрытым ртом, на согнутых в коленях ногах, весь внимание, весь готовность выстоять, спастись, спасти! Удар — он прыгает, удар — он падает, удар — он кувыркается, но не дает мячу упасть на охраняемую им территорию. «Если Кондра пошел за мячом, — говорит Платонов, — для него не помеха ни зрители, ни ряды кресел, никакая другая преграда. Остановить его может только свисток судьи».

После чемпионата Европы 1979 года, второго волейбольного чемпионата, выигранного сборной под началом Платонова, французская печать окрестила Кондру «волейбольным Пеле». Он был признан в Париже лучшим универсальным игроком континента. Да и в мире нет такого второго волейболиста-универсала, как офицер Советской Армии, коммунист, комсорг сборной СССР Владимир Кондра.

Пройдет Олимпиада, еще годик-другой поиграет за клуб и сборную Владимир Кондра, выпускник Московского областного пединститута. А потом?

— Хочу работать с ребятами. Постараюсь передать им свою преданность волейболу.

Кондра все умеет в волейболе, Зайцев все понимает. Они самые авторитетные люди в команде, первые помощники тренера — комсорг и капитан. Десять лет назад играющий тренер «Автомобилиста» Вячеслав Алексеевич Платонов, покидая площадку, передал футболку со своим номером Вячеславу Алексеевичу Зайцеву, восемнадцатилетнему юнцу Славе, начинавшему свое волейбольное

образование в детской спортшколе «Спартак» у Валентины Андреевны Гладковой. Крупный был девятилетний мальчишка — ста шестидесяти двух сантиметров. С тех пор вытянулся еще на тридцать сантиметров. В пятидесятые годы был бы одним из самых больших в волейболе, «углом», то бишь основным забойщиком. Да и в баскетбольной сборной тридцатилетней давности свободно исполнил бы роль центрового. Между прочим, Кондрашин одно время приглашал рослого лобастого парня в баскетбольный «Спартак», понятно, не в центровые, а в разыгрывающие. Зайцев ни в какой игре не потерялся бы, но, прими он предложение Кондрашина, отечественный волейбол потерял бы своего лучшего разводящего последнего десятилетия.

В волейбольном лексиконе несколько синонимов для ампула Зайцева — разыгрывающий, диспетчер, дирижер, связующий, разводящий. Режиссеру почему-то нравилось говорить — «разводящий».

Оказывается, Платонова это раздражало.

— Ты что, в армии часто в карауле стоял? — огорошил как-то режиссера Платонов. — Все-то у тебя разводящий... Да знаю, что не сам придумал, бытует у нас такое жаргонное словечко. У меня от него зубы ломит. Предпочитаю другое — связующий. И по-русски лучше звучит, и по сути правильнее. Шестерых на площадке связывает между собой, соединяет в команду один игрок. Связующий, проводник всех тренерских идей. Без высококлассного связующего нет высококлассной команды. С ним первым советуется тренер, задумывая новую комбинацию. Он, связующий, решает, кому из нападающих какую дать передачу, он, в зависимости от обстановки, может перевести стрелки игры на путь сложности, остроты или спокойного, академического волейбола. Ответственность он несет большую, чем любой из игроков. Гораздо большую.

Зайцев попал в сборную на четыре года раньше Платонова, но лишь с приходом Платонова его талант связующего игрока проявился во всем блеске.

Никаких привилегий ученик и тезка старшего тренера по знакомству, так сказать, не имеет. Воронков, ревнитель справедливости, удивлялся: «Своих ленинградцев Платонов строжит больше, чем нас». Наблюдателен молодой киевлянин, — режиссеру казалось, что старший тренер сборной держит своих в черном теле, даже перебарщивает с этим. Поразмыслив, решил, что иного выхода у Платонова нет.

Хельсинки — Токио — Рим — Париж. Сборная выигрывает все турниры подряд. Лавина восторгов, славословия. Платонов — заслуженный тренер СССР, игроки — заслуженные мастера спорта.

Берет минутный перерыв Платонов, подзывает к себе всех:

— Кому проигрываете — мальчишкам? Заслуженные...

Поют медные трубы, вливая в души игроков расслабляющий яд успеха. Тренер — аптекарь, фармацевт — готовит противоядие. Сразу после римского триумфа Платонов написал: «Это уже день вчерашний. А на повестке сегодняшнего — Олимпиада-80, где мы начерены выступить успешно. Для этого надо работать и работать. Современный волейбол бурно развивается. Для того чтобы вновь быть на высоте, нельзя останавливаться... Тем более, что наша сборная пока — далеко не идеал».

Виктор Липатов

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ АЛЫЕ ПАРУСА

Грин умирал в чисто выбеленной, ослепительно белой и оглушительно пустой комнате, где на стене сиротливо висел обломок корабельного бушприта. Может быть, Грину казалось: корабль вливается в комнату, забирает его на борт и уносит в такой далекий и такой близкий ему мир его городов и героев. И ничего более не нужно было Грину: он и корабль...

Когда-то, в юности, писатель очень хотел плавать на кораблях — и плавал, но так и не стал морским волком, чье сердце полно удали, а карманы — глухо звящего золота... Впрочем, о золоте Грин никогда не думал. Ему ничего не было нужно, потому что имел он слишком много: много желаний и того, что ценнее самого драгоценного металла на земле, — таинство воображения и фантазии. И он все-таки стал отважным капитаном особого корабля, над которым развевались необыкновенные алые паруса.

Грин сам признавался, что мечтал о приключениях с восьми лет. Жестокая трепка житейских будней заменила ему приключения.



Грин говорил, что даже интересное чтение было для него «своего рода путешествием». Он читал, как путешествовал, и путешествовал, как читал. Наверное, потому писал книги.

Вечный солдат Прекрасной Неизвестности, Грин ценил друзей и знал врагов. Не любил сытых душой и скрывающихся под всевозможными зонтиками, не умеющих радоваться и любить. Случалось, «вороны злорадства» летали над ним — и он отпугивал их выстрелами. Правда, чаще стрелял холостыми зарядами.

Грин был добр и не верил в случайность, потому никогда не жаловался на свою судьбу. Он знал, что у него беззащитное сердце, «...а защищенное — оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы погреть руки».

Грин боялся одного: быть как все. Его пугала заволакивающая тина серых дней, и он звал к озарениям: «...когда душа таит зерно пламенного растения-чуда, сделай ему (человеку. — В. Л.) это чудо, если ты в состоянии».

А сделать это чудо, по Грину, было и неизмеримо тяжело, и невероятно легко.

Что такое чудо? Грин называет: улыбка, веселье, прощение, вовремя сказанное нужное слово. Все, что намного дороже «дражайшего пятака». У Грина нет неизвестных чудес — есть чудеса, известные хорошим людям и сделанные их руками, поступками, жизнью.

Таков ли Александр Грин, нарисованный молодым ленинградским художником Андреем Харшаком? Пожалуй, да. Если когда-нибудь в Крыму, где жил последние годы писатель, ему поставят памятник, — возможно, поднимется он похожим на того, каким создал его художник, — на фоне леса мачт, возносящихся в небо, и на его лицо в морщинах-шрамах, которые ему подарила жизнь, упадет непокорно-неужоженная прядь волос. Грин, мудрый, всезнающий, немного грустящий, понимающий людей и провидящий их судьбу...

Вначале меня удивило, что Андрей довольно поздно взял в руки книги Грина. Хорошо это или плохо, что познакомился он с Грином, когда ему предложили иллюстрировать «Алые паруса»? Обычно этого писателя узнают раньше. Харшак встретился с Грином, повидав море, отслужив в армии и уже найдя свое призвание. Потому воспринял «Алые паруса» осязаемо, реально. Со всей энергией своего возраста, когда уже ушла мечтательность юности, но еще не пришло понимание той мечты, которая ведет за собой зрелого человека. Возможно, именно поэтому Харшак сразу же «сщупал» каждую вещь в «Алых парусах», абсолютно поверив в людей повести-феерии, вплоть до того, что нашел им прототипов в своей жизни. Во всяком случае, в Артуре Грее он узнал... Михаила Боярского. Договорился с последним, что тот будет ему позировать. Сеанс, правда, так и не состоялся, но тем не менее...

Харшак иллюстрировал «Алые паруса» дважды. В его первых рисунках линия тонка, но не бесплотна. Его цветные офорты отличаются уважением к цвету: рисунок довольно лаконичен, хотя в нем чувствуется желание все договорить, досказать до конца. Харшаку хочется утвердить свое право на такое понимание. Он стремится к абсолюту и этого абсолюта боится. Отсюда некоторая категоричность, в которой сквозит неуверенность. Вначале рисунок кажется слишком простым, но вскоре увлекает стремлением к изяществу исполнения и в итоге оставляет впечатление чистоты, ясности событий, грусти и красоты. В этом проявляется поэзия видения,

понимание Грина как своего писателя. И прежде всего как писателя, живописующего реальный мир, который так хорошо понимает, чувствует молодой художник. Харшак достигает совершенства в изображении этой реальности. Дома-утесы, фонтан, паруса барок, судачащие кумушки, бредущая Ассоль — юная мечтательница...

Город Каперна для Харшака такой же существующий на карте мира, как, к примеру, Одесса. Южный город Каперна — город черепичных крыш. Мы видим сквозь «канал» его улицы, как подплывает корабль, навстречу ему бегут люди... Иллюстрация у Харшака светлая, «утренняя». Совершается важное событие в жизни города и горожан, художник передает нам их впечатление от этого события.

Парусники, воссозданные Харшаком, ощутимо существуют, и в то же время перед нами именно те белокрылые красавцы, которыми в свое время гордились моря и океаны. «Пузатый» оранжево-коричневый «Секрет» тяжело лежит на воде — целый плавающий замок, вдали — голубые силуэты других кораблей.

Есть в рисунках Харшака похожесть на старые гравюры, и это приносит в наше восприятие элемент сказочности. Корабли воспевают кружевом мачт, парусов, лестниц, цепей. Гордые мачты на фоне свинцового неба. Корабли сверкают, паруса торжественно ниспадают.

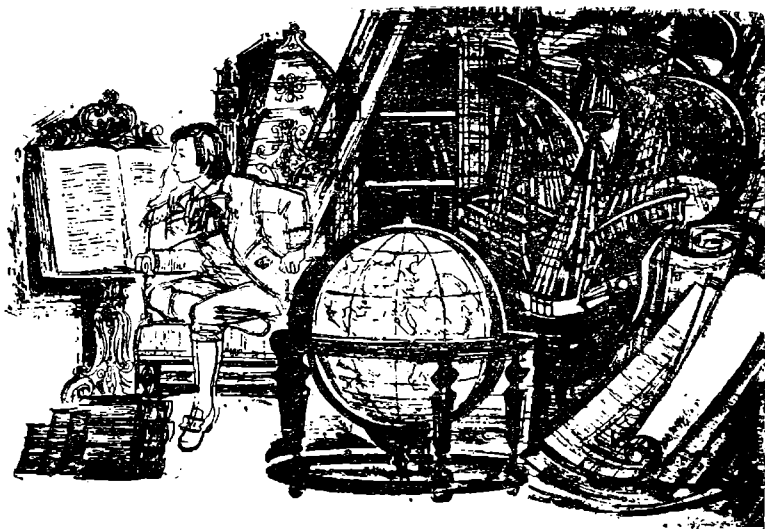
Море и корабли Грина. И тем не менее герои иллюстраций к «Алым парусам» — это еще не совсем из Грина. Харшак видит их пока издали, «силуэтно».

Красный силуэт Ассоль у моря элегантен, выразителен, понятен. Вблизи даже маленькую Ассоль художник рассматривать еще не смеет, поэтому рисует почти со спины, влолборота, тщательно и, надо сказать, удачно представляя нам ее одеяние — головной убор с бантом, платье, тяжелые сабо. Ассоль, остановившаяся перед удивительным миром сказки. Харшак сумел передать это настроение, показать атрибуты нелегкого быта, окружавшего девочку: грубо сколоченный стол, стулья, табуретки; игрушки, сделанные на продажу; инструменты...

Кто такая Ассоль! Она голубит растения, беседует с ними, с животными; она естественна, как дуновение доброго ветерка. Грин пишет: «Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки». Харшак мастерски создает композицию, соединяющую подлинный мир и мир мечты, где девушка призрачно парит среди сверкающих звезд, где властвуют алые паруса. Харшак прекрасно воссоздает страну Грина, мы видим Ассоль, бредущую по Каперне и мечтающую об алых парусах, чувствуем ее настроение — одиночества и ожидания, «слышим» разговор двух кумушек с корзинами у фонтана: вон, сумасшедшая все ждет... Мы прикасаемся взглядом к отвесным стенам зданий, домов-крепостей...

Но эта Ассоль все же — как все хорошие девушки мира. Полет ласточки еще не состоялся.

И юный Артур Грей — довольно стандартный современный мальчик со статью и повадками полукувбоя, полусупермена. Харшак увидел в Грее отнюдь не романтическую фигуру, а грубовато-бравого молодого человека, ловко стреляющего, умело дерущегося, неплохо ставящего паруса и попивающего крепкий ром. Грей у него остается плакатным, призывающим восторгаться им — истинным героем моря, парусов, настоящей любви. Но в Грее не хватает



*Иллюстрации Андрея Харшака
к «Алым парусам» Александра Грина*

именно того, что так хотелось представить Харшаку, — плотности, жизненной силы.

Было бы преждевременно отказывать молодому художнику в мастерстве портретиста. Другие персонажи «Алых парусов» ему удались лучше. Капитан Гоп явно похож на отважного моряка из гриновского мира: внешняя надменность в нем сочетается с добродушием. Вызывающе повязан его красный шарф — назло всем бурям и штормам.

Веселыми мудрецами и волшебниками выглядят музыканты. И, пожалуй, больше всех удался художнику сказочник Эгль. В шляпе с бантом, в кружевах, с прекрасной кожаной сумкой на боку и поясом, способным вызвать зависть у всех современных подростков, он держит в руках игрушку — корабль с алыми парусами и неосторожно, заманчиво предсказывает.

Таковы беглые впечатления от иллюстраций Андрея Харшака. У них есть неоспоримое достоинство — они убеждают нас: сказку можно и следует делать только своими руками.

...Ветер склоняет голубоватые прутья куста и травы, а вдали, совсем силуэтно-ажурный, выплывает красный кораблик... Эмблема и Александра Грина, и Андрея Харшака, читающего Грина.

СОКРОВИЩА РУССКОГО МУЗЕЯ

Ясное летнее утро. Облака над полем. И косцы, тонущие в золотом море колосьев. Как не узнать русскую ширь, бескрайний простор! Кажется, слышишь размеренный посвист косы, шуршанье колосьев, перезвон жаворонков. Кто же создал эту картину, полную света и красок Родины?

Григорий Григорьевич Мясоедов закончил Академию художеств за год до знаменитого «бунта тринадцати». Но, едва вернувшись из заграничной поездки в 1868 году, он сразу же примкнул к этой группе демократически настроенных художников и стал одним из инициаторов Товарищества передвижных выставок.

И вот на второй выставке (в 1873 году) появилась картина Мясоеда, без которой невозможно себе представить историю русской культуры. Это «Земство обедает». Земство, местное самоуправление, куда могли быть выбраны и представители крестьянства, было введено царскими властями в середине шестидесятых годов. Но... Перед нами сцена, увиденная художником. Обеденный перерыв в работе волостной управы. У стены «присутствия» в жаркий летний день расположились земские гласные — мужики. Двое прямо на ступеньках крыльца, один на бревнышке, один и вовсе прикорнул в узкой полоске тени. Они привычно закусывают хлебом с луком, старик посыпает хлеб солью — деликатес! Все сосредоточенны, молчаливы, объединены крестьянски серьезным отношением к еде. Но позвольте, ведь это не полный состав управы?

В распахнутое окно мы видим: официант готовится к господскому обеду... Картина неторопливо и внешне бесстрастно доказывала, что все, в сущности, осталось, как и до реформы.

Как же могло случиться, что художник, прославившийся трезвым показом действительности, написал полную светлой поэзии «Страду» (другое название «Косцов»)? Наверное, ответ на этот вопрос мы отыщем у Некрасова: «В рабстве спасенное сердце свободное — золото, золото сердце народное! Сила народная, сила могучая — совесть спокойная, правда живучая!» И впрямь, если приглядеться повнимательнее — ведь эти плечистые косари и изгнанные из управы земцы — одни и те же лица! Вот он, в центре полотна, богатырь с венком на русых волосах, а там он на приступочке, только у дверей земства у него низко склоненная голова, а на покосе он гордо распрямился. Здесь, где требуется от него его сила да хватка в работе, — здесь он хозяин, он первый и главный, отсюда его не вытеснить никому. Здесь ему не горбит спину забота, солнце ему светит, и коса сама идет...

«Земство обедает» помечено 1872 годом. «Косцы» написаны много позднее, в 1887-м, когда повеяло другим ветром. Вера в высокую судьбу родного народа породила это пронизанное солнцем полотно.

Инна Пруссаква



Мясоедов Г. Г.
Косцы

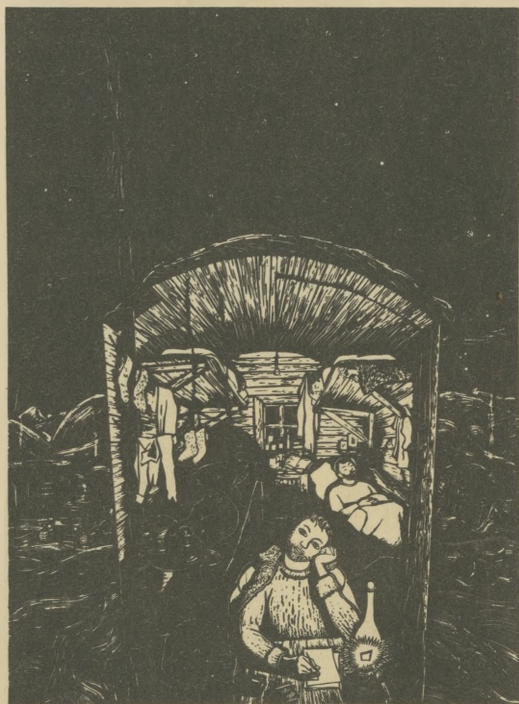
Художественный редактор
Валерий Топков

АВРОРА

Технический редактор
Зара Оганова

Корректор
Тамара Княжицкая

Цена 40 коп.
Индекс 70033



В самых дальних трудно-
доступных краях можно
увидеть человека с этюд-
ником.

Ленинградский график
Владимир Емельянов по-
корял горы вместе с аль-
пинистами, с геологами и
нефтяниками бывал в
Ямальской тундре, с гео-
дезистами и взрывниками
жил в «балках» на Поляр-
ном Урале, с моряками-
североморцами ходил на
боевые учения, путешес-
вовал по пустыне Гоби,
жил на БАМе...

Все увиденное и пережи-
тое легло в основу серий
линогравюр: «Воспомина-
ние о горах», «Воспомина-
ния о Севере», «Молодеж-
ная стройка», «Нефть»,
«Беломорье», «Северный
флот», «Подводники се-
верных морей», «На бай-
кальской трассе». В его
эстампах — дыхание боль-
ших пространств. Его ге-
рой — люди крепкие и на-
дежные, мужественные и
добрые.

Письмо из Заполярья

Песня о Севере